

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

АЛЬМАНАХ

III

НЬЮ ЙОРК

1 9 6 3

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

АЛЬМАНАХ III

Редактор-издатель
Р. Н. ГРИНБЕРГ

НЬЮ ИОРК
1 9 6 3

AERIAL WAYS

No. 3

Editor-Publisher *R. N. Grynberg*

Обложка работы С. М. Гринберг

· БИБЛИОТЕКА - ФОНД
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ·
Н. РАДИЩЕВСКАЯ Д. 2
915-10-47

Stories by ISAAC BABEL:

Froim Grach

Moy pervyi gonorar

Kolyvushka

© by Natalie Babel 1963

Excerpts from ISAAC BABEL'S letters to his mother and sister

© by Giangiacomo Feltrinelli, Editore 1963

AERIAL WAYS No. 3

© by R. N. GRYNBERG 1963

All rights reserved

Мы печатаем два стихотворения Анны Ахматовой без ее ведома.

Первое, — «Нас было четверо» появилось в «Литературной газете» от 16-го января 1962 г. под другим названием, без средней строфы и эпитафов. Второе стихотворение печатается в первый раз.

Собранное нами небольшое число «стихов разных лет, посвященных Анне Ахматовой» является, как-бы, продолжением «Антологии» весьма редкого издания 1925-го г. ленинградского «Общества библиофилов», под редакцией Э. Ф. Голлербаха — «Образ Ахматовой».

К галерее знакомых портретов Ахматовой, художников Н. Альтмана, Ю. Анненкова, Д. Бруни (акварель), К. Петрова-Водкина, мы рады прибавить малоизвестный рисуночный набросок знаменитого Амедея Модильяни, сделанный им в Париже в 1911 г.

Три стихотворения В. Ф. Ходасевича, неизданные, были получены от В. С. Франка (Лондон), которому мы приносим живую благодарность.

В 1944-м г. нью-иоркский «Новый Журнал» печатал мемуары — «Жизнь и встречи» — Михаила Александровича Чехова, одареннейшего русского актера и режис-

сера, умершего 64-х лет в Калифорнии в 1955-м году. Мы предполагаем, что политическое настроение значительной части эмигрантского общества в середине 40-х годов, вызванное военными успехами сталинских армий, заставило редакторов журнала отказаться от одной части 15-ой главы этих воспоминаний. В IX-ой книге «Нового Журнала» на 20-ой странице эта часть заменена многоточием. Мы воспроизводим, ничего не меняя, опущенный текст. Здесь Чехов пишет о Москве 1927/28 гг. Летом последнего года он навсегда покинул родину.

Три новеллы Исаака Эммануиловича Бабеля — «Фроим Грач», «Мой первый гонорар» и «Колывушка» печатаются впервые.

Четвертая новелла — «На поле чести» — перепечатана из забытого одесского журнала 1920 г. «Лава» (№ 1-й). За текст этой ранней вещицы автора «Конармии» мы благодарим К. К. Тиммера (Амстердам), известного переводчика Бабеля на голландский язык.

Письма И. Э. Бабеля к матери и сестре никогда по-русски не появлялись. В 1961 г. в миланском издательстве Ж. Фельтринелли вышел том этих писем по-итальянски в прекрасном переводе и с комментариями г-жи Марии Олсуфьевой. Ввиду недостатка места, мы вынуждены ограничиться выдержками. Мы выбрали места в письмах, которые могут иметь общий интерес.

С 1925 г. мать и сестра И. Э. покинули СССР и поселились в Брюсселе. Начиная с этого года по 10-ое мая 1939 г. — дата последнего письма и время, когда писатель был «репрессирован» — он им помногу и часто писал. За эти 14 лет И. Э. трижды выезжал за границу Советского Союза. Писал он родне отовсюду, но главным образом, конечно, из СССР. Основным содержанием писем являются семейные обстоятельства, осложненные тем, что приходилось жить в разных странах. И мечта И. Э., неизменно повторяющаяся в письмах,

была соединить семью, вернуть ее в СССР, а там зажить всем вместе. И. Э. был нежным и заботливым сыном, братом и, позднее, отцом. Но и более дальние родственники не оставались без внимания и помощи. С 1935 г., после последней поездки во Францию он перестает мечтать: письма становятся короче и менее содержательны. В тот год он обзавелся новой семьей.

Биография Бабеля не так скоро будет написана из-за недостатка достоверных фактов. Биография, как и любая другая историческая работа, нуждается в фактах. Письма к родне не всегда служат источником, потому что И. Э. далеко не всё им писал. Мешала цензура СССР и за границей. Письма к жене, ныне покойной Евгении Борисовне, были ею перед смертью сожжены. Кстати, его автобиография и «История моей голубятни» — нарочитая стилизация, о чем он предупреждает свою мать в одном из писем.

Недавно вышла книга на немецком и венгерском языках — «Роман одного романа. Московский дневник», — Эрвина Шинко. Этот поэт и прозаик, бывший участник венгерского большевистского восстания весной 1919 г., отправился в середине 1935 г. в Москву в поисках издателя для своего романа. Неудачи и встречи, приключившиеся с недавним энтузиастом коммунистической державы, послужили темой нового романа в форме дневника. Шинко случилось поселиться под одной крышей с Исааком Бабелем, в небольшом особнячке в Николо-воробьинском переулке. Это было в 1936 г. Встреча и, поначалу, дружба с Бабелем описаны зорко и живо. Мы узнаем то, что отсутствует в письмах близким. Шинко вел с И. Э. откровенные беседы и после одной такой беседы, происходившей, как обычно, ночью и шепотом, он записал в дневник: «Я понял, что этот человек живет в большом страхе». Это было время, когда И. Э. совершенно перестал печататься и называл себя «молчальником-рецидивистом». Он признался Шинко, что предпочитает прослыть у редакторов советских журналов лентяем, чем подвергаться «проработке». После смерти М. Горького, друга И. Э. и покровителя, страх его усилился и он ждал нехорошего.

Арест и гибель И. Э. — загадочны. В чем была его вина и за что его судила Военная коллегия Верховного суда в конце, кажется, 1940 г., какой ему был вынесен приговор, без вердикта, куда его сослали, и где, и как он умирал — неизвестно.

Но как бы то ни было, Исаак Бабель, большой мастер русской прозы, занесен в горестный список, загубленных коммунистической партией жизнью.

Выход 3-ьего выпуска «Воздушных путей» совпал с новой тревогой в среде творческой интеллигенции Советского Союза. За 46 лет партийной деспотии немало было гонений и расправ. На этот раз мы узнали, что нападению дан отпор. Писатели и художники отказываются безоговорочно служить аппарату партии, требуя право на самостоятельное творчество. Важно, что отпор дан не одиночками, а какими-то группами деятелей разных отраслей искусства.

Трусливая и развращенная полувековым самоуправством партийная власть боится малейшего влияния талантливых людей. Она хочет сохранить единственно за собой руководство мыслями и, даже, чувствами всего населения. Но умы и души в России стали чувствительнее и, хочется верить, что возврата к прошлому быть не может. Тем более, что предлагаемая властью панацея марксизма-ленинизма — безликая смертельно надоевшая бесплодная выдумка.

«Воздушные пути» шлют дружеский привет всем тем, кто в России своей верой в себя, своей стойкостью сумеет отстоять право на творческую независимость.

Редакция

С Т И Х И

НАС ЧЕТВЕРО

(Комаровские кроки)

Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены.

О. М.

Таким я вижу образ Ваш и взгляд.

Б. П.

Златоустой Анне всяя Руси.

М. Ц.

...и отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага,
Духом — хранителем «места всего»
Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,
Жить — это только привычка,
Слышится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

Двух... а еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Свежая темная ветвь бузины
словно — письмо от Марины.

1961. В Гавани
Ноябрь
(в бреду)

Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах.
То кричишь из Мариинской башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина
И разграблен родительский дом».
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полнощной идем,
А за нами таких миллионы
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да Московские дикие стоны,
Вьюги наш заметающий след.

1940 г. март.

Стихи разных лет, посвященные Анне Ахматовой

РУСАЛКА

Анне Андреевне Горенко

На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны,
Это странно-печальные сны
Мирого, больного похмелья.
На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны.

У русалки мерцающий взгляд,
Умирающий взгляд полуночи,
Он блестит, то длинней, то короче,
Когда ветры морские кричат.
У русалки чарующий взгляд,
У русалки печальные очи.

Я люблю эту деву-ундину,
Озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины . . .
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.

1904
Царское Село

Н. Гумилев

Это, кажется, самое раннее стихотворение, посвященное А. А. Ахматовой. Оно печаталось и раньше, иногда без посвящения. РЕД.

Уста Любви истомлены,
Источены ее уборы,
Ее безвинной пелены
Коснулись хищные и воры.
И только видеть, что она
В пирах ликующего света
Глухим вином напоена
И ветхой ризою одета.
Поет и тлеет злая плоть.
Но знаю верой необманной:
Свою любимую Господь
Возвысит в день обетованный.
И над огнями суеты
Она взойдет стезей нестыдной,
Благословеннее звезды
В сияньи славы очевидной.

Десятые годы.

В. Шилейко

Я позабыл слова, я не слагал заклатья,
По немощной, я только руки стлал,
Чтоб уберечь ее от мук и чар распятья,
Которые я ей в знак нашей встречи дал.

1916 г.

Б. Анреп

(Отрывок)

И когда в небе древнем и высоком
Я вижу записи судей моих,
И ведаю, что обо мне далеко
Звучит Ахматовой сиренный стих.

Н. Гумилев

На полотне из камней
Я черную хвою увидел.
Мне казалось, руки ее нет костеней,
Стучится в мой жизненный выдел,
Так рано? А странно: костяком
Прийти к вам вечером
И, руку простирая длинную,
Наполнить созвездьем гостиную.*

1913 г. ноябрь.

Велемир Хлебников

* Это стихотворение А. Крученых, ошибочно, считал частью поэмы «Игра в аду». РЕД.

Как Черный ангел на снегу
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу,
Есть на тебе печать господня.
Такая странная печать —
Как бы дарованная свыше —
Что, кажется, в церковной нише
Тебе назначено стоять.
Пускай нездешняя любовь
С любовью здешней будут слиты,
Пускай бушующая кровь
Не перейдет в твои ланиты
И пышный мрамор оттенит
Всю призрачность твоих лохмотий
Всю наготу нежнейшей плоти,
Но не краснеющих ланит.

1910 г.

О. Мандельштам

Три эпиграммы.

Вы хотите быть игрушечной,
Но испорчен Ваш завод,
К Вам никто на выстрел пушечный
Без стихов не подойдет.

1911 г.

Черты лица искажены
Какой то старческой улыбкой.
Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены.

1915 г.

Привыкают к пчеловоду пчелы,
Такова пчелиная порода,
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года.

1930 г.

Осип Мандельштам

Три стихотворения

Слепая сердца мудрость! Что ты значишь?
На что ты можешь дать ответ?
Сама томишься, пленница, и плачешь;
Тебе самой исхода нет.

Рожденная от опыта земного,
Бессильная пред злобой дня,
Сама себя ты уязвить готова,
Как скорпион в кольце огня.

1921 г.

26 МАЯ 1836

Оставил дрожки у заставы,
Побрел пешком.
Ну вот, смотри теперь: дубравы
Стоят кругом.

Недавно ведь мечтал: туда бы,
В свои поля!
Теперь несносны рощи, бабы
И вся земля.

Уж и возвышенным, и низким
По горло сыт,
И только к теням застигийским
Душа летит.

Уж и мечта, и жизнь — обуза
Не по плечам.
Умолкни, Парка! Полно, Муза!
Довольно вам!

1924, Рим.

(Из черновиков.)

В последний раз зову Тебя: явись
На пиршество ночного вдохновенья.
В последний раз: восхить меня в ту высь,
Откуда открывается паденье.

В последний раз! Нет в жизни ничего
Святее и ужаснее прощанья.
Оно есть агнец сердца моего,
Влекомый на закланье.

В нем прошлое возлюблено опять
С уже нечеловеческою силой.
Так пред расстрелом сын объемлет мать
Над общею и их могилой.

1934 г.

Пять стихотворений

ПЕТРАРКА

Как соловей сиротствующий славит
Своих пернатых близких ночью синей
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,

И всю-то ночь щекочет и муравит,
И провожает он один отныне —
Меня, меня — силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини.

О радужная оболочка страха!
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха —

Исполнилось твое желанье, пряха!
И, плачущи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.

Январь 1934. Москва

Это — перевод «Сонета 311» — “*Quel Rossignuol, cle si soave piagne...*” Ред.

Река, разбухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых . . .

Дол, полный клятв и шопотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах.

Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я. Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,

Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

1934. Москва

Когда уснет земля и жар отпышет
 И на душе зверей покой лебяжий,
 Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
 И мощь воды морской зефир колышет.

Чую, горю, рвусь, плачу — и не слышит —
 В неудержимой близости всё та же —
 Целую ночь, целую ночь на страже —
 И вся как есть далеким счастьем дышит.

Хоть ключ один — вода разноречива —
 Полужестка, полусладка — ужели
 Одна и та же милая двулична?

Тысячу раз на дню себе на диво
 Я должен умереть на самом деле —
 И воскресаю также сверхобычно.

Январь 1934. Москва

Этот сонет был впервые напечатан в «Вестнике Р.С.Х.Д». Париж. (№ 64, 1 — 1962, стр. 49-50) Ред.



Когда душе и торопкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропинка не ясна.
Он, кажется, дичится умиранья,
Застенчивостью славит новичка,
Иль звука первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь в продольный лес с смычка.
И льется вспять, еще лентясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего — из нити, из темна,
Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Февраль 1934 г.

Наушники, наушнички мои,
Попомню я воронежские ночи,
Недопитого голоса аи,
И в полночь с Красной площади гудочки.
Ну, как метро? Молчи, в себе таи,
Прислушайся, как набухают почки.
А вы, часов кремлевские бои —
Язык пространства, сжатого до точки.

Май 1935 г.

ШУТОЧНОЕ

Григорий Семенович Рабинович, ныне здравствующий в Аргентине, в молодости, в Петербурге, дружил с Осипом Эмильевичем Мандельштамом.

Он сообщает следующее:

В декабре 1911 г. Мандельштам явился в «Бродячую собаку» и сказал экспромтом:

«Господа, я нашел за границей, в Италии, пергаменты неизвестного поэта Caius'a Stultitius'a и перевел их; они отличаются закругленной античной глупостью; вот они: —

Катится по небу Феб в своей золотой колеснице,
Завтра тем же путем он возвратится назад.

— 0 —

Ветер высоких деревьев срывает желтые листья.
Делия, посмотри, фиговых сколько листов.

— 0 —

Делия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.
Женщина! ты солгала! — в них я покоился сам.*

* Владимир Федорович Марков любезно предоставил нам письмо покойного Г. В. Иванова к нему от июня 1956 г. В нем Г. В. Иванов приписал это двустишие М. Л. Лозинскому — поэту и переводчику Данте. В том же письме он привел еще несколько шуточных строк Мандельштама:

Путник, откуда идешь? Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек, смотришь — не веришь очам.
В бархатном кресле сидит, за обедом кушает гуся,

В ноябре/декабре 1913 г. Осип Эмильевич поссорился с родителями и поехал гостить в санаторию моего отца доктора Рабиновича в Мустамяки. Вернувшись, посетил меня: «Гриша, я написал стишки»: —

В девятьсот тринадцатом, как яблоко румян,
Был канонизирован святой Мустамиан,
И к вечному блаженству приобщен,
Что от чудовищных родителей рожден.

Серебро закладывал, одежды продавал
И тысячу динариев менялам задолжал.
Гонят слуги палками того, кто худ и нищ,
Охраняют граждане добро своих жилищ.

Кнопки коснется рукой — сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Путник молю, расскажи, кто же живет на Второй?

— 0 —

Михаилу Леонидовичу Лозинскому

Сын Леонида был скуп; говорил он, гостей принимая:
Скифам любезно вино, мне же любезны друзья.

Ред.

ЧЕТЫРЕ НОВЕЛЛЫ

ИСААКА БАБЕЛЯ

ФРОИМ ГРАЧ

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на аррьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов — они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц прежде, чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон, — сказал гость Пескину, — на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой пол-бутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию... Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы...

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую, — сказал Миша, снимая шляпу, мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем... Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать, — произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны, — где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол и скалил зубы.

— Авантюрист, — сказала ему мадам Пескина, ты еще смеешься... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову... Пойди, имей беседу с твоей дочерью...

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак, — начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала. Соседи сбежались на ее крик.

— Он не живой, — сказала им мадам Пескина. — Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Никто другой, как доктор Зильберберг сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лapidуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся и несколько дней прошло прежде чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее, мохнатым угольным ку-

стом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот схватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха... — сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бичевкой.

— Фроим, — произнесла старуха, — я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребках, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью... Их надо грызть зубами, этих людей и вытаскивать из них сердце... Ты молчишь Фроим, — прибавил Миша Яблочко, — ребята ждут, что ты перестанешь молчать...

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни, — сказал им Миша Яблочко, — я не угощу вас чаем с семитатью...

Он насыпал им в карман платиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъявшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гар-

дины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрицы и вошел в здание Чека.

— Я Фроим, — сказал он коменданту, — мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

— Это грандиозный парень, — ответил Боровой, тут вся Одесса пройдет перед вами...

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин, — сказал вошедший, — кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

— Я пусто, — сказал тогда Фроим, — в руках у меня ничего нет и в чоботах у меня ничего нет и за воротами на улице я никого не оставил... Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену...

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня, — сказал он, — это эпопея, второго нет...

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два

красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь, — сказал старший, увидев Борового, — это сила непомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...

Красноармеец раскраснелся, глаза его блстели, картуз сбился на бок.

— Мелешь больше пуду, — прервал его другой конвоир, — помер и помер, все одинакие...

— Ан не все, — вскричал старший, — один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...

— У меня они все одинакие, — упрямо повторил красноармеец помоложе, — все на одно лицо, я их не разбираю...

Боровой наклонился и отвернул брезент. Grimаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтобы следователи разбившись на группы, начинали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным Управлением в Москве..

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердисься на меня, я знаю, — сказал он, — но только мы власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить...

— Я не сержусь, — ответил Боровой и отвернулся, — вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком...

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист, — сказал он после молчания, — ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю, — Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, — наверное не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...

МОЙ ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Жить весной в Тифлисе, иметь двадцать лет от роду и не быть любимым — это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского Военного округа. Под окнами моей мансарды клочкотала Кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов грузинов. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена, ворочались, как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятовавших этих рыб бились о перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведённые упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобранная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть. Ища тонкой ногой ступеньку, Милиет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути — зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра.

Иметь двадцать лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания — это беда.

Спасаясь от неё, — я кидался опрометью, вон из дому, вниз к Куре, там настигали меня банные пары Тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось кроме как искать любви. Конечно, я нашел её. На беду или на счастье, женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Её звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для неё у меня не было, да и слов — неутомимых этих пошлых и роющих слов любви — тоже не было. Смолоду все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жабы на камне. Одержимый бесовской гордостью — я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием — сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них только тогда, когда они облечены в прекрасные одежды. Как шить эти одежды?..

Человеку, взятому на аркан мыслью, присмирившему под змеиным её взглядом, трудно изойти пеной незначущих и роющих слов любви. Человек (этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель — я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере десять рублей из скудных моих заработков.

Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей духана «Симпатия». Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками — они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бёдрами. В су-

мерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким, осыпающимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту; ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи.

Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая — она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет богородица на носу рыбацкого баркаса. Она поравнялась с дверьми духана «Симпатия». Я качнулся, двинулся.

— В какие палестины?

Широкая розовая спина двигалась предо мною. Вера обернулась.

— Вы что там лепечете?..

Она нахмурилась, глаза её смеялись.

— Куда бог несет?..

Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом.

— Десятка, — вам не обидно будет?..

Я согласился так быстро, что это возбудило её подозрения.

— Да есть ли они у тебя, десять рублей?..

Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем двадцать один рубль; серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные к серебряным.

— Десятку мне, — отдавая кошелек сказала Вера, — пять рублей прогуляем, на остальное живи. У тебя когда получка?..

Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Трогуар был засыпан ковром увядших овощей.

— В Боржом бы от этакой жары...

Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей:

— Ну и дуй в Боржом...

Это я сказал — дуй. Для чего-то оно было мною произнесено — это слово.

— Пети-мети нет, — ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день её был сделан и заработок со мною был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами.

Мы дошли до подножья горы святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люле-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на сияющие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабатчика в том, что для него пришла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабатчик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люле-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шёлка рукавов, она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашенных ногтей. Люле-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения.

— Вот не сдвинешь его с места, ишака этого... На Михайловском с восточной кухней, знаешь, какие дела можно поднять...

Мимо столика, один за другим, проходили знакомые Веры — князя в черкесках, немолодые офицеры, лавочники в чесучевых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелёными угрями на щеках. Только в двенадцатом часу ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, — Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями её чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масляную бумагу. Плечистая старушка в газовой шляпке, с рыжей сумкой на боку, ходила по номерам прощаться. Она шаркала

по коридору резиновыми ботинками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час — не меньше — ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трёхногими креслами, глиняной печью, сырими углами в разводах.

Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом...

В коридоре шаркала и раздражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты; другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потёртой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина. Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Предо мною, в квадрате окна, уходил каменистый подъем, кривая турецкая улочка. В комнату вошла Вера.

— Проводили Федосью Маврикеевну, — сказала она, — поверишь, она нам всем, как родная была... Старушка одна едет, ни попутчика, никого...

Вера села на кровать, расставив колени. Глаза её блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня, в двухбортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась.

— Заждался, небось... Ничего, сейчас сделаемся...

Но что собиралась Вера делать — я так и не понял. Приготовления её были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на неё кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку — от клизмы — над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила её в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с

опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в сторону.

— Пока вода доспеет, — сказала моя возлюбленная, — подь-ка сюда, попрыгунчик...

Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трёхногую мебель...

О, боги моей юности!.. Как непохожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стеной, на протяжный, закатывающийся их визг...

Вера подложила ладони под груди и покачала их.

— Что сидишь невесел, голову повесил?.. Поди сюда... Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать.

— Или денег пожалел?

— Моих денег не жалко...

Я сказал это рвущимся голосом.

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?..

— Я не вор.

— Цинкуешь у воров?..

— Я мальчик.

— Я вижу, что не корова, — пробормотала Вера. Глаза ее слипались. Она легла, и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу.

— Мальчик, — закричал я, — ты понимаешь, мальчик у армян...

О боги моей юности!.. Из двадцати прожитых лет — пять ушло на придумывание повестей, тысячи повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно на роду мне было написано, чтобы тифлисская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивей думал о своём ремесле, — я заплёл бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце деспоте и матери мученице.

Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому и еще потому, что так нужно было моей слушательнице — я родился в местечке Алёшки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. Десяти лет я стал воровать у отца деньги, подростки убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним и мы прожили вместе четыре года...

— Да лет-то тебе сколько было тогда?..

— Пятнадцать...

Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили четыре года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти четыре года изучить ремесло; я не ударил пальцем о палец... У меня другое было на уме — биллиард... Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию...

Бронзовые векселя... Сам не знаю, как взбредли они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на её плечах.

...Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешёл к богатому старику церковному старосте...

Церковный староста — это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека.

— Церковный староста — сказал я и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в жёлтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья в жёлтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот — я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами... Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчат чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа...

И я стал молоть про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то... Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчили меня. Струи ледящего пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена. Керосинка давно потухла. Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно пошла к окну. Передо мной двигалась её спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступях гор, загорался свет.

— Чего делают, — прошептала Вера не оборачиваясь, — боже, чего делают...

Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шёл по мостовой... Голова Веры пошатывалась.

— Значит — бляха... Наша сестра — стерва...

Я понурился.

— Ваша сестра — стерва...

Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле.

— Чего делают, — повторила женщина громче, — боже, чего делают... Ну, а баб ты знаешь?..

Я приложил обледеневшие губы к её руке.

— Нет... Откуда мне их знать, кто меня допустит?..

Голова моя тряслась у её груди, свободно вставшей надо мною. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня.

— Сестричка, — прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной, — сестричка моя бляха...

Теперь скажите, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата-плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки прочь от обтёсываемого бревна?.. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить их.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар, камнем лежавший в кровати. Проснувшись мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на майдане, на базаре старого гора. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара, чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан донышком вверх. Расплачиваясь с турком, я придвинул к Вере две золотые пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером и я положил обратно в кошелек два золотых, мой первый гонорар.

Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть, они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю её потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один — и это будет мой последний — золотой.

1922-1928.

КОЛЫВУШКА

(Из книги «Великая Старица»).

Во двор Ивана Колывушки вступило четверо — уполномоченный Рик'а Ивашко, Евдоким Назаренко, голова сельрады, Житняк, председатель колхоза только что образовавшегося, и Адриян Моренец. Адриян двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашко пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших пряхках, у окна, сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами — они походили на монашек. Между полотенцами и дешёвыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку.

— Сколько податку платит? — вертясь спросил Ивашко.

Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо пряхки.

Ивашко фыркнул, узнав, что Колывушка платит двести шестнадцать рублей.

— Бильш не сдужил?..

— Видно, что не сдужил...

Житняк растянул сухие губы, голова Евдоким всё смотрел на пряхку. Колывушка, стоявший у порога, мигнул жене; та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному Рик'а.

— Семфонд?.. — Ивашко спрашивал отрывисто, от нетерпения он ёрзал ногой, вдавливал её в половицы.

Евдоким поднял глаза и обвёл ими хату.

— В этом господстве, — сказал Евдоким, — всё сдано, товарищ представник... В этом господстве не может того быть, чтобы не сдано...

Белёные стены низким, тёплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стёклах, плоские шкафы, натёртые лавки — всё отражало мучительную чистоту. Ивашка снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу.

— Товарищ представник, — Кольвушка ступил вслед за ним, — распоряжение будет мне или как?..

— Довидку получишь, — болтая руками, прокричал Ивашко и побежал дальше.

За ним двигался Адриан Моринец, нечеловечески громадный. Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот, — вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы.

— У чому справа, Тымыш?..

Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, весёлая жердь, перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами.

— Дом твой под романент забирают...

— А меня?..

— Тебя на высылку...

И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство.

Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нём торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул её и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жерёба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Кольвушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое

прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, льющейя завесы вышли её глаза. Жалуясь она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на её брюхе.

— Помиримось, — протягивая ей руку, сказал Иван, — помиримось, дочка...

Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза её косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа её запрокинулась в отчаянии. Она натянула шею и двинулась, таща прыгавшую бороны. Иван отвёл за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошёл к сараю и выкатил на волю сеялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину и поворачивая топор в тонком плетении колёс и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.

— Маты, — услышал Иван далекий голос, — маты, он все погубляет...

Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Жёлтые волосы облегли дыры её щек, рубаха висела, как саван на плоском её теле. Старуха ступила в снег мохнатыми чулками.

— Кат, — отнимая топор, сказала она сыну, — ты отца вспомнил?.. Ты братьев, каторжников, вспомнил?..

Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.

— Примись, стерво, — сказал ей муж.

Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его.

Дядька Колывушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их.

— Я человек, — сказал вдруг Иван, окружившим его, — я есть человек, селянин... Неужто вы человека не бачили?..

Терентий, толкаясь и приседая, прогонял посторонних.

Ворота завизжали и съехались. Раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго, с перекатом, уложенные добром. Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы. На верёвке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной, плоской пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо.

Колывушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к сельраде. Там шло заседание нового колхоза «Видрождения». За столом распластался горбатый Житняк.

— Перемена нашей жизни, в чем она есть, ця перемена? — Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились. — Селяне, мы переходим к молочно-огородному направлению, тут громаднейшее значение... Батьки и деды наши топтали чоботами клад, в настоящее время мы его вырываем. Разве это не позор, разве-ж то не гоньба, что, существуя в яких-нибудь шестидесяти верстах от центрального нашего миста — мы не поладили господства на научных данных. Очи наши были затворены, селяне, утекать мы утикали сами от себя... Что такое обозначает шестьдесят верст, кому это известно?.. В нашей державе это обозначает час времени, но и цей малый час есть человеческое наше имущество, есть драгоценность...

Дверь сельрады раскрылась. Колывушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги.

— Посбавленных права голоса, — сказал он, глядя вниз на бумаги, — прохаю залишить наши сборы...

За окном, за грязными стёклами, разливался закат, изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы в сыром дыму махорки слабо блестели искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась.

Он подошел к столу, за которым сидел президиум, — батрачка Ивга Мовчан, голова Евдоким и безмолвный Адриан Моринец.

— Мир, — сказал Колывушка, протянул руку и положил на стол связку ключей, — я увольняюсь от вас, мир...

Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адриана.

— Куда ты пойдёшь, Иване?..

— Люди не принимают, может земля примет...

Иван вышел на цыпочках, ныряя головой.

— Номер, — взвизгнул Ивашко, как только дверь закрылась за ним, — самая провокация... Он за обрезом пошел, он никуда кроме как за обрезом не пойдет...

Ивашко застучал кулаком по столу. К устам его рвались слова о панике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адриана снова втянулось в темный угол.

— Не, — сказал он из тьмы, — мабуть не за обрезом, представник.

— Маю пропозицию... — вскричал Ивашко.

Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Колывушкиной хаты. В стражники выбрали Тымыш, виконавца. Гримасничая, он вынес на крыльцо венский стул, развалился на нём, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона Тымыш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лиловая, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьёв пролегали в ней; звезда спустилась в колодцы черных облаков.

На утро Тымыш донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего диким мясом. С вечера Абрам протащился к колодцу.

— Ты зачем, диду Абрам?..

— Самовар буду ставить, — сказал дед.

Они спали поздно. Над хатами закурился дым; их дверь всё была затворена.

— Смылся, — сказал Ивашко на собрании колхоза, — заплачем, чи шо... Как вы мыслите, селяне?..

Житняк, раскинув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу приметы обобществленных лошадей. Горб его отбрасывал движущуюся тень.

— Чем нам теперь глотку захнёшь, — разглагольствовал Житняк между делом, — нам теперь всё на свете нужно... Дождевиков искусственных надо, распашников надо пружинных, трактора, насоса... Это есть ненасытность, селяне... Вся наша держава есть ненасытная...

Лошади, которых записывал Житняк, все были гнedyе и пегие, по именам их звали «мальчик» и «жданка». Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилии.

Его прервал шум, глухой и дальний топот стада. Прибой накатывался и плескал в Великую Старицу. По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди неё. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады, — люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Колывушка в рубахе навывпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, чёрного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы уносимые ветром, пронеслись под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперёд, с жадностью смотрел на белые волосы Колывушки.

— Скажи, Иване, — поднимая руки, произнёс старик, — скажи народу, что ты маешь на душе...

— Куда вы гоните меня, мир, — прошептал Колывушка, озираясь, — куда я пойду... Я рожденный среди вас, мир...

Ворчание проползло в рядах. Разбрасывая людей, Маринец выбрался вперёд.

— Нехай робит, — вопль не мог вырваться из его тела, низкий голос дрожал, — нехай робит... Чью долю он заест?..

— Мою, — сказал Житняк и засмеялся. Шаркая ногами он подошел к Колывушке и подмигнул ему.

— Цию ночку я с бабой переспал, — сказал горбун, — как вставать — баба оладий напекла, мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пуцали...

Горбун умолк, смех его оборвался, кровь ушла из его лица.

— Ты к стенке нас ставить пришел, сказал он тише, — ты тиранить нас пришел — белой своей головой, мучить нас — только мы не станем мучиться, Ваня... Нам это — скука в настоящее время — мучиться...

Горбун придвигался на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.

— Тебя убить надо, — прошептал он, догадавшись, — я за пистолью пойду, унистожу тебя...

Лицо его просветлело, радуясь он тронул руку Колывушки и кинулся в дом за дробовиком Тымыша. Колывушка, покачавшись на месте, двинулся. Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся пролёте хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже. Он повернул по дороге на Ксеньевку. С тех пор никто не видел его в Великой Старице.

Весна 1930 г.

НА ПОЛЕ ЧЕСТИ

Германские батареи бомбардировали деревни из тяжелых орудий. Крестьяне бежали к Парижу. Они тащили за собой калек, уродцев, овец, собак, утварь. Небо, блиставшее синевой и зноем, — медлительно багровело, набухало и обволакивалось дымом.

Сектор у Н. занимал 37 пехотный полк. Потери были огромны. Полк готовился к контратаке. Капитан Ратин обходил траншеи. Солнце было в зените. Из соседнего участка сообщили, что в четвертой роте пали все офицеры. Четвертая рота продолжала сопротивление.

В 300 метрах от траншеи Ратин увидел человеческую фигуру. Это был солдат Биду, дурачок Биду. Он сидел скорчившись на дне сырой ямы. Здесь когда то разорвался снаряд. Солдат занимался тем, чем утешаются дрянные старикашки в деревнях и порочные мальчишки в общественных уборных. Не будем говорить об этом.

— Застегнись, Биду, — с омерзением сказал капитан. — Почему ты здесь?

— Я... я не могу этого сказать вам... я боюсь, капитан!..

— Ты нашел здесь жену, свинья! Ты осмелился сказать мне в лицо, что ты трус, Биду. Ты оставил товарищей в этот час, когда полк атакует... *Веп, топ сошон!*..

— Клянусь вам, капитан!.. Я все испробовал... Биду, сказал я себе, будь рассудителен... Я выпил бутылку чи-

стого спирта для храбрости. *Je veux pas, capitaine...* Я боюсь, капитан!..

Дурачок положил голову на колени, обнял ее двумя руками и заплакал. Потом он взглянул на капитана, и в щелках его свиных глазок отразилась робкая и нежная надежда. Ратин был вспыльчив. Он потерял двух братьев на войне и у него не зажила рана на шее. На солдата обрушилась кощунственная брань, в него полетел сухой град тех отвратительных, яростных и бессмысленных слов, от которых кровь стучит в висках, после которых один человек убивает другого.

Вместо ответа Биду тихонько покачивал своей круглой, рыжей, лохматой головой, твердой головой деревенского идиота.

Никакими силами нельзя было заставить его подняться. Тогда капитан подошел к самому краю ямы и прошипел совершенно тихо:

— Встань, Биду, или я оболую тебя с головы до ног.

Он сделал, как сказал. С капитаном Ратин шутки были плохи. Зловонная струя с силой брызнула в лицо солдата. Биду был дурак, деревенский дурак, но он не перенес обиды. Он закричал нечеловеческим и протяжным криком; этот тоскливый, одинокий, затерявшийся вопль прошел по взбороненным полям; солдат рванулся, заломил руки и бросился бежать полем к немецким траншеям. Неприятельская пуля пробила ему грудь. Ратин двумя выстрелами прикончил его из револьвера. Тело солдата даже не дернулось. Оно осталось на полдороге, между вражескими линиями.

Так умер Селестин Биду, нормандский крестьянин, родом из Ори, 21 года — на обгаренных кровью полях Франции.

То, что я рассказал здесь — правда. Об этом написано в книге капитана Гастона Видаля — *Figures et anecdotes de la grande guerre*. Он был этому свидетелем. Он тоже защищал Францию, капитан Видаль.

О РОССИИ

Возвращение на родину

Пора вернуться в Россию. Не нам, а России: детям и внукам всех тех, с кем мы расстались, когда мы расстались с ней. Пора им зажечь в обновленной, но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в Европу; пора вернуться на родину. Они и сами это знают, с каждым годом все лучше, без нашего совета. Возвращение уже началось. Когда оно завершится, пусть не будет нас больше в живых, вернемся и мы в Россию, вернутся все те, кто умер вдали от нее, сохранив ей верность, сохранив верность России-Европе, в те годы, когда безымянная страна, занявшая ее место, отеклась от нее, отеклась от России и от Европы. *Это* возвращение тоже началось. Другого и быть не может для тех, кому перестала быть родиной страна, отрекшаяся от собственной родины.

*

Хотячее западное противопоставление Запада Востоку, коренится в политике и прежде всего запутывает ее же, подсказывая мысль, что мир уже разделен между Вашингтоном и Москвой; но вредит оно не одной политике, да и питается скверною привычкой, с нынешним положением вещей не имеющей ничего об-

щего. В Париже издавна существует Институт Восточных Языков, где преподают, среди других, и ново-греческий, и все славянские языки. Нечего и говорить, что в старой России, на факультетах восточных языков, *эти языки* не преподавались. До-советская Россия славян и греков восточными народами не называла, себя Востоком не считала. Несмотря на свои огромные азиатские владения она причисляла себя к Европе. Географически, разумеется, к восточной Европе, но «восточная Европа», это ведь всего лишь восточная часть Запада, потому что европейский мир, включающий в себя и Америку с Австралией, это и есть западный мир, короче говоря, «Запад». Новая, нынешняя Россия — все равно говорим ли мы об СССР или об РСФСР — точно также, логически рассуждая, не имеет никакого основания считать себя Востоком: идеология, отторгнувшая ее от Запада, отнюдь не восточного происхождения. Но политика, сперва внушавшаяся этой идеологией, а теперь использующая ее, о логике не заботится. Приверженцы этой политики одной из главных своих задач считают овладение Востоком (на пути к овладению всем миром), и им представляется выгодным, чтобы страна, подвластная им и дающая основу для расширения их власти, слыла уже сейчас (пусть лишь до поры до времени) Востоком, представляла, бы Восток. Недаром «Востоком» был назван и тот сверхвоздушный корабль, на котором русский космонавт совершил свое, вызвавшее всемирные восторги путешествие.

В конце концов, великороссам, украинцам, белоруссам, наследникам России в Советском Союзе, не так уж важно, считают ли на Западе их страну Востоком или нет. Гораздо важнее, чем они сами ее считают. Если Востоком, то это значит, что они порывают с собственным прошлым, зачеркивают и лишают смысла свою историю. Восток и Запад — не географические, а исторические понятия. Важно не то, что Россия —

восточная Европа, которую можно в известной мере противопоставлять западной. Важно, что она Европа. Важно, что русский народ принадлежит к семье европейских народов, и русский язык к семье европейских языков. Для истории, Восток, это Азия. Азия создала великие культуры, но русская не их отпрыск, а отпрыск культуры европейской, вне которой она непонятна, исторически немыслима. Противопоставлять Россию Западу, причислять ее к Востоку, это значит искоренять ее из Европы и тем самым отречься не только от наследия Пушкина и Петра, но и от всего, что было создано ее тысячелетним прошлым. Лицемерная хвала этому прошлому может возноситься и при полном затемнении подлинного его смысла, но предначертанная им преемственная связь, уже ослабленная, окончательно оборвалась бы, если бы удалось оторвать Россию от Запада, отсесть восточную Европу от остальной Европы. Если те, кто распоряжается нынче судьбами России, считают именование ее Востоком, противопоставление ее Западу уместным и для их целей полезным, то от этого оно не перестает противоречить разуму и совести.

Иногда до чего то близкого этому договаривались и в былое время, но лишь недавно наметилось соответствие дел этим на ветер брошенным словам. В 1918 году Блок писал:

Да, скифы мы! Да, азиаты мы —
С раскосыми и жадными очами...

и пророчил о том, что Россия обернется к Западу «своею азиатской рожей». Риторика этих стихов, что и говорить, даже поэтически была выразительна; но если бы провозглашающие Россию Востоком пожелали извлечь из них нынче политическую программу и тем самым пророчество их выполнить, то у их подданных хватит, нужно думать, здравого смысла, чтобы сказать — даст Бог, даже и вслух — примерно следующее:

О скифах давно бы все забыли, не опиши их Геродот и не будь их искусства, греческого, хоть и не по духу, но по выучке и совершенству, с которым, однако, даже и древнее наше искусство ничего не имеет общего. Певец их знал о них не много и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью, ни раскосыми глазами. Неизвестно, к тому же, почему надо обзывать рожам азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными. Что же касается России, то зачем же ей обращаться не лицом, а рожей, пусть и не азиатской, к кому бы то ни было и тем более к Западу, к европейскому миру, вне связи с которым у нас ничего бы не было — ни литературы, ни мысли, ни музыки нашей, ничего, чем мы жили веками и еще сейчас живем?

Самой Азии, в наше время, все трудней становится жить своим азиатским наследием. Мы им во всяком случае жить не можем. Лишь вернувшись в Европу, мы вернемся на родину, и Россия станет вновь Россией только сделавшись снова европейской страной.

*

Из Европы она ни в какие времена полностью не выпадала. Духовная жизнь ее выросла на основе христианства, преподанного ей Византией, наследницей Греции и наследницей римской империи. Преемственность эта и после татар не оборвалась, а с Западом, в до-татарские времена, Россия была гораздо теснее связана, чем Византия. Новгород и Псков эту связь сохранили без перерыва, а с XV века она вновь стала намечаться и в Москве. Для ощущения единства христианско-европейского мира, отличавшего киевскую Русь, но не исчезнувшего и в московской, при всем ее недоверии к «латинству», характерно, что русская Церковь, в противоположность византийской, сочла и никогда не перестала считать *своим* праздник «Перенесения мощей

иже во святых отца нашего Николая Чудотворца из Миры во град Бари», хотя доставили туда эти мощи западные купцы, завладевшие ими не без вероломства и насилия. Отчуждения Московии от Запада преуменьшать ни в коем случае нельзя: за него то мы, быть может революцией и вызванным ею новым отчуждением в конечном счете и заплатили. Но непроницаемой преграды на западной границе оно не воздвигло, с Азией нас сколько-нибудь решающим образом не сблизило и задолго до Петра начало заметно ослабевать. Когда ему не было еще и двенадцати лет, в октябре 1683 года, во всех московских церквах служили благодарственные молебны по случаю освобождения Вены от турецкой осады: басурманской столицей та раскольничья, стрелецкая, избяная Белокаменная все же не была.

Когда Петр, подросток, растолкал, взбудоражил ее, осрамил и развенчал, когда он всю страну «вздернул на дыбы» и выстегал заморской плетью, многое так и осталось поруганным и оскверненным, но переворот был все-таки *направлен* верно, окно прорублено на Запад, а не на Восток. Доказательством этому служат все дальнейшие двести лет, и прежде всего тот необыкновенно бодрый и быстрый рост государственной, хозяйственной и созидательно-духовной жизни, которым было отмечено время от Ломоносова до Пушкина.

В до-петровской Руси не было общепринятого, т. е. соответствующего языковым навыкам образованного общества, литературного языка (потому что не было и самого этого общества). При Петре язык был засорен хаотической массой заимствований из голландского, немецкого, английского, французского языков; но уже через два или три поколения заимствования эти были отброшены или усвоены, было найдено равновесие между русскими и церковно-славянскими элементами книжной речи, и к концу века у России был обще-литературный язык, не менее гибкий и богатый, чем у англичан или французов. Их литературы как и другие

влились в нашу оттого что сделались впервые переводимыми на наш язык. И точно также впервые было выработано стихосложение, родственное немецкому и английскому, и, в отличие от прежнего, вполне отвечавшее особенностям русского языка. Еще в том же веке оно послужило Державину, поэту обще-европейского масштаба, а затем Пушкину, после чего применение этого масштаба к нашей литературе полностью узаконилось: она стала равноправной составной частью европейской литературы. То же можно сказать о музыке, архитектуре, изобразительном искусстве. Вся работа мысли и воображения перестроилась у нас на западный лад, обрела новую основу, созданную Западом. Старая, византийско-киевско-московская основа не исчезла, не могла исчезнуть, но первенствующее значение сохранила лишь в религии и в религиозно-бытовом укладе народной жизни. В языке она отошла на второй план, как и в литературе, поскольку писатель намеренно к ней не возвращался или не делал ту мысль и тот быт, что в ней коренились, предметом своего изображения. В музыке, живописи, архитектуре от нее остались лишь совсем слабые следы. Если придавать слову «язык» самый широкий смысл, обозначая им все средства выражения и общения, доступные человеку, можно сказать, что уже со времени Ломоносова и тем более начиная с Пушкина, Глинки, Захарова, Востокова, Лобачевского, Сперанского, Россия заговорила на языке, которому научил ее Запад. Сближаясь с Западом она европеизировалась, что в данном случае значит: возвращалась в семью родственных ей европейских народов.

Долго она была с этой семьей разлучена, но другой не обзавелась: этому помешал греко-христианский стержень ее духовной жизни. Европейское будущее было ей предначертано самым давним ее прошлым. Вот почему так грубо ошибаются историки, приравнивающие этот ее возврат к европеизации Индии или Японии. Эти страны сохраняют своеобразие вопреки европеизации и ровно в той мере, в какой она не завершена; Россия за-

ложенное в ней своеобразие только вернувшись в Европу и осуществила. Она стала, конечно, более похожей на западные страны, чем была до того, но это сходство не уничтожило несходства, а сочеталось с ним и привело к цветению, которое вне такого сочетания было бы невозможно. Ущерб ей был нанесен только грубостью петровской хирургии, слишком резким отсечением старого от нового, приведшим к чрезмерному разладу между тем, чем продолжала жить деревня, и тем, к чему устремлялось дворянство, а потом интеллигенция. Славянофилы оценили это правильно, не поняв только, что разлад, при всей трагичности — или как раз в силу ее — был и творчески плодотворен, потому вероятно, что совсем непримиримого разлада между двумя христианско-европейскими наследиями быть не могло. Но позднейший славянофильский национализм был уж и совсем неправ противопоставляя самобытность европеизму, как будто она не могла быть внутри-европейской, как будто Европа сама не состояла из враждующих и все же объединенных в ней, самобытных, но неотъемлемых одна от другой наций. Искаженно представляло себе Европу сходясь в этом со славянофильством, также и выродившееся западничество, подменявшее ее идеологическими схемами, применимыми где угодно, а поэтому объявлявшимися обязательными и для нас. Кто не понял Европу, не поймет и Россию. Противоположные друг другу заблуждения относительно ее места в мире продолжают до наших дней.¹ Но вся наша история с полной очевидностью их опровергает.

¹ Как в Советском Союзе, где занесенная с Запада, но заслоняющая его собой идеология сочетается с самохвальным осуждением его, унаследованным от вульгаризованного славянофильства, так и в эмиграции, где евразийцам, пытавшимся очень талантливо (по европейской мерке), но все же безуспешно выселить Россию из Европы, противостоят последние интеллигенты старой формации, своеобразия не признающие и не понимающие его роли в европейском единстве. Один из них обвинил меня, после выхода в свет моей книги «Задача России»,

Воссоединившись с Западом Россия расцвела, и она вновь расцветет, если снова — не как сколок с него, а как его часть — вернется в Европу, — с ним соединится. Как только произошло, в последней четверти прошлого века, пусть лишь частичное отчуждение от него, как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас постигла нас странная сонливость и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил. Наши шестидесятники заклеили окно на Запад брошюрами и подметными листками, отказались от всего его богатства, ради горсти лозунгов, ничего не давших мысли, хоть и пригодных для борьбы. Как бы ни расценивать их деятельность с других точек зрения, с точки зрения разума она была в высшей степени вредна. Недаром проявляли они столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политике (разумеется, их политике): к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических потребностей. Ближайшим образом все это привело (вместе с подавлением крамолы, столь же упростибельным, как она сама) к провинциализации России, очень верно отраженной Чеховым; в конечном же счете послужило к образованию того умственного склада, который вскоре стал характерен уже не для верхних, и даже не для средних, а для низших слоев интеллигенции, что и позволило ему восторжествовать

в суевежном «мессианстве» и в противоречии самому себе. Как это я, прославивший западником, могу говорить о единственности России, о «ей одной преподанной вести», о ее миссии по отношению к остальной Европе? Отвечу, что Россия так же единственна в европейском целом, как Англия или Италия, причем значение части для целого именно и определяется ее несходством с другими частями. Слово «миссия» лишь по звуку, отнюдь не по смыслу похоже на слово «Мессия». Россия была христианской страной. Придавать этому значение еще не значит смешивать национальное с религиозным.

после 1917 года, когда полу-интеллигенты пришли к власти, а интеллигенция более высокого духовного уровня оказалась выгнанной или уничтоженной. В России началось снижение культуры, а потом и сдача ее на слом при Сталине, вместе с отчуждением от остальной Европы, достигшим размеров невиданных в послепетровские времена. Россия отходила от Запада. И чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя.

*

«Всякая революция влечет за собой временное одичание», как писал в свое время Фридрих Шлегель. Одичание это длилось у нас исключительно долго, но вот уже несколько лет, как наметился выход из него, как обозначился просвет, который то быстрее, то медленней, но все же расширяется с каждым годом. Молодое поколение новой интеллигенции в лучшей своей части к этому просвету устремлено; оно правит свой путь, по двум звездам, мысленно различимым, но на деле слившимся в одну; можно звать эту звезду «Европа», можно звать ее «Россия», большой разницы при этом не получится. Именно в стране, которая была бы Европой, будучи вместе с тем Россией, этим русским молодым людям и хотелось бы отныне жить. Глядят ли они на Запад, вспоминают ли о том, о чем так долго воспрещалось вспоминать, они ищут одного: утраченной родины, не телесной, но духовной. Родина, это не территория плюс народонаселение, как и не просто семья и родной дом. Кошки привыкают к дому, собаки к людям, и привязанности человека, вырастающие из этих животных привязанностей, святы, нужны и неотъемлемы от его человеческого естества. Но все же родину любит он не одной собачьей или кошачьей любовью. Облик ее, живущий в его душе, к одним ощущениям не сводим, так что способен и вовсе обойтись без запаха березового листа и вкуса гречневой каши. Россия, это духовное, умопостигаемое целое, меняющееся во вре-

мени, да и окрашенное для каждого слегка по иному, но все же очерченное с достаточной ясностью, и пребывающее не в прошлом только, но в связи будущего с прошлым. Одичанье исказило образ России именно тем, что затемнило и ослабило эту связь. Усилия нового поколения как раз и направлены — ясно ли или смутно оно это сознает — к восстановлению этой связи.

Связь требуется восстановить, как это все повидимому и чувствуют, прежде всего с самым недавним прошлым, с двадцатыми годами, когда мысль и воображение не совсем еще были вытравлены у нас, хоть и притеснялись все усердней с каждым годом, а затем и с дореволюционным началом века, положившим конец провинциализму предшествовавших лет. Восстановление преемственности невозможно без пересмотра тех нелепых оценок, которыми так долго заграждался путь к этому близкому нашему прошлому, без тщательного ознакомления с тем, что было им сделано, как и с тем, что было сделано в эмиграции, по мере сил продолжившей его. Запрет нынче снят лишь с очень малой доли этого наследства, но раскрепощение памяти, хоть и робко, все же началось. Смысл его, всякий это понимает, не в возврате к тому, что было. Преемственность не состоит в повторении пройденного. Искать надо в прошлом не образцов для подражания и не мыслей, с которыми заранее согласен, а «пищи для ума», и тут, в нашем и недавнем, легче ее будет найти, чем где бы то ни было. Через это близкое ведет путь и к пониманию более далекого. Преемственность восстановима только в выборе, в борьбе, только путем усвоения одного и отбрасывания другого. Нельзя утвердить ее, продлить, передать будущему, не прибавив к старому ничего нового. Но чтобы прибавить, надо знать, к чему прибавлять.

Россия должна заново осознать себя Европой и Россией, заново стать Европой и Россией. Это и будет для всех нас возвращением на родину.

Послесловие

Послесловие к чему? — вправе спросить всякий, кому попадутся на глаза эти строки.

Ответить кратко и точно мне было бы трудно, а в качестве ответа возможного и даже подходящего, хотелось бы повторить афоризм, которому у нас повезло, так как цитировался он часто: «если надо объяснять, то не надо объяснять».

В самом деле, не очевидно ли без всяких разъяснений, что каждому из нас, литераторов, прошедших пол-жизни, и даже больше, чем пол-жизни, в эмиграции пора о «послесловии» подумать. О послесловии к тому, что было сделано, тобой или другими. О послесловии к нашей общей литературной участи, с неизбежной и в сущности нужной, необходимой долей внимания к самому себе, как той частице, той клеточке единого организма, которую лучше всего знаешь и сквозь которую отчетливо видишь, безошибочно угадываешь многое, что иначе расплылось бы туманным пятном. Кого же человек вправе судить, а может быть и осудить, кроме самого себя, — и разве не именно о суде в данном случае речь? Конечно, найдутся люди, которые скажут: «эгоцентризм, интеллигентский гамлетизм, запоздалые декадентские хитросплетения и домыслы!» — тут же сославшись на «наше время, когда...», договорившись пожалуй даже до времени, видите ли, «динамического».

Но с этим нельзя считаться: «не надо объяснять». А так как на самого себя случается все же иногда взглянуть и со стороны, улавливая то, что может именно со стороны показаться досадным, то я колебался, не озаглавить ли эти заметки ироническим словом «Мерси», в память Кармазинова, многословно «кладущего перо». Однако лучше обойтись без «мерси», да и уж слишком много злобы вложил Достоевский в этот свой пасквиль, впрочем не спорю — гениальный.

**
*

Отчего мы уехали из России, отчего живем и, конечно, умрем на чужой земле, вне родины, — которую, кстати, во имя уважения к ней, верности и любви к ней, надо бы писать с маленькой, а не с оскорбительно-елейной, отвратительно слащавой прописной буквы, как повелось писать теперь. Не Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, что дух ее не возмущается, не содрогается всей бессмертной своей сущностью при виде этой прописной буквы? На первый взгляд — пустяк, очередная, глупая, теляче-восторженная выдумка, но неужели все мы так все одеревенели, чтобы не уловить под этим орфографическим новшеством чего-то смутно родственного щедринскому Иудушке?

«Последнее убежище негодяя — патриотизм», сказано в «Круге чтения» Толстого. Не всякий патриотизм, конечно, и сам Толстой основными чертами своего творчества, смыслом и сущностью явления «Толстой» опровергает этот полюбившийся ему старый английский афоризм. Дело повидимому в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошел сквозь очистительный огонь сомнения и отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан, он должен быть отмыт от всей эгоистической, самоупоенной мерзости, — безотчетной или сознательной, все равно, — которая к нему прилипает. С некоторым нажимом педали можно было бы сказать, что патрио-

тизм надо «выстрадать», иначе ему грош цена. В особенности патриотизму русскому.

Отчего же все таки мы уехали из России? Или точнее: раскаиваться ли в том, что мы уехали из России, считать ли это ошибкой, даже несчастьем, исторически может быть и оправданным, но все таки несчастьем, тяжелой бедой, на долю нашу выпавшей?

Не могу удержаться от того, чтобы сразу, до всяких объяснений, разъяснений и соображений, не сказать: нет, нет, нет, не было ошибки, да и несчастья нет, поскольку всякие практические невзгоды, с бесправным положением беженца, со скитальчеством и неуверенностью в завтрашнем дне, с холодно-вежливым безразличием иностранцев к самому факту эмиграции во всех его проявлениях, поскольку все это искупается с лихвой, — о, с огромной, неисчислимой лихвой, — ощущением какой то почти метафизической удачи, решения долго смущавшей загадки. Даже больше: освобождения, — как бывает после трудного, страшного шага, который наконец сделан. Произошло то, что должно было произойти. Исторический рисунок долго остававшийся бессвязным, внезапно оказался осмыслен и линии его сошлись: разумеется, я говорю только о литературе. Надо было, чтобы именно было так, и в этом великое наше удовлетворение, даже если признать, что на неожиданном для нас экзамене мы скорей сплеховали... Братья-беженцы, — не эмигранты, нет, порой склонные кичиться сознательностью твердо сделанного выбора, а именно беженцы, повсюду рассеянные, одиночки-литераторы, поэты, известные и никому не известные, — мысленно мне хочется пожать руку тем из вас, которые это чувствуют, и я уверен, что остались руки, которые протянулись бы в ответ.

Оттого мы уехали из России, что нужно нам было остаться русскими в своем облики, по прямой наследственной линии нам переданному, в своей внутренней тональности, и право политика тут ни при чем, или во всяком случае при чем-то второстепенном. Да, бесспорно,

революция дала нашей судьбе определенные бытовые формы, и разумеется, отъезд фактический, а не аллегорический, был вызван именно революцией, именно крушением привычного для нас мира (еще раз мелькает в сознании: «если надо объяснять...»). Разумеется, возможность писать по своему, думать и жить, как хочешь, пусть и без пайков, без разъездов по заграничным конгрессам и без дач в Переделкине, имела значение первичное. Кто же это отрицает, кто может об этом забыть? Но не все этим исчерпывается, а если бы исчерпывалось, то действительно осталось бы нам только «плакать на реках вавилонских». Однако слез нет и плакать не о чем. Понятие неизбежности, безотрадное и давящее, с понятием необходимости вовсе не тождественно: в данном случае была необходимость.

Есть две России, и уходит это раздвоение корнями своими далеко, далеко вглубь, повидимому в то, что сделал Петр, — сделал слишком торопливо и грубо, чтобы некоторые органические ткани не оказались порваны. Смешно теперь, после всего на эти темы написанного, к петровской хирургической операции возвращаться, смешно повторять славянофильские обвинения, да и преемственность-то тут едва намечена, и думая о ней убеждаешься, что найти для нее твердые обоснования было бы трудно. За нее, в пользу нее говорит, главным образом, то, что на Западе раздвоения нет, или во всяком случае на Западе оно бесконечно слабее, оставаясь редким индивидуальным исключением на фоне дружного национального единодушия. Есть две России, и одна, многомиллионная, тяжелая, тяжелодумная, — впрочем тут подвертываются под перо сотни эпитетов, вплоть до блоковского «толстозадая», — одна Россия как бы выпирает другую, не то, что ненавидя ее, а скорее не понимая ее, косясь на нее с недоумением и ощущая в ней что то чуждое. Другая, вторая... для нее подходящих эпитетов нашлось бы меньше. Но самое важное в ее облике то, что она не сомневается в полноправной своей принадлеж-

ности к родной стихии, не сомневается и никогда не сомневалась. Космополитизмом она не грешна: «космополит — нуль, хуже нуля» сказал, если не изменяет мне память, Тургенев в «Рудине». На что бы она ни натолкнулась, в какие пустыни ни забрела бы, она — Россия, плоть от плоти ее, дух от духа ее, и никакими общенародными, охотнорядскими выталкиваниями и выпираниями, дореволюционными или теперешними, этого ее убеждения не поколебать.

Пишу и чувствую, что мимоходом задеваю старый, болезненный, «проклятый» вопрос о русской интеллигенции вообще. Надо значит остановиться. С интеллигенцией дело у нас до крайности сложно, но лишь искажая ее облик можно было бы приписать ей то, что иногда сквозит в литературе: согласие на русское одиночество в России. Наоборот, она ищет связей, она своим отрывом обеспокоена и даже склонна его отрицать, и это теперь так же ясно, как было в прошлом. Литература же никакими житейскими, хотя бы и возвышенно-житейскими, расчетами не озабочена и ей чуждо понятие практического риска. Ей нечего терять, нечего и выигрывать, и она может позволить себе роскошь быть правдивой, без компромиссов. В конце концов литература это — честность с собой», толстовское «*fais ce que dois, advienne que pourra*», или это просто на просто пустая игра.

Мережковский когда то сказал в «Зеленой лампе», — и слова его поразили меня своей меткостью, — или может быть, сомневаюсь я теперь, тем неподражаемым умением преподносить эффектные афоризмы как глубоко — проникновенные мысли, которыми Мережковский отличался в своих словесных импровизациях под занавес, под конец публичных споров:

— Первым русским эмигрантом был Чаадаев.

Нет, это только поверхностно верно, хотя высочайший диагноз, признавший Чаадаева умалишенным, и совпадает с некоторыми новейшими утверждениями. Чаадаев очень умен, но холоден, надменен и в самом

одинокостью своим, с примесью дэндизма, как-то вызывающе - декоративен: нет, москвичам гарольдов плащ решительно не к лицу. Но замечательно все таки, что Мережковский уловил в исторической природе эмиграции нечто такое, что не одной только революцией было вызвано, а возникло задолго до нее. Не Чаадаев, так кто-нибудь другой, не одна книга, так строчка тут, полстранички там, обрывок стихотворения, вздох, не нашедший логического выражения, оцененный современниками, как нелепость, — но предвидение отрыва, отказа, освобождения, смутное предчувствие короткого, как молния счастья, среди повседневных наших дел, да, «лицемерных», среди всякой «пошлости и прозы».

Эмигрантская литература должна была бы это подхватить. От чаадаевского наследия ее отталкивает однако то, что она отнюдь не была склонна променять Россию на Запад и что никакой обетованной землей Запад для нее не был и не стал. Она искала родины, которая географически перестала быть Россией, она бежала в какое-то «никуда», «вглубь ночи», в русское рассеяние внезапно наполнившееся смыслом, но не на Запад, как могло бы показаться на первый взгляд. Запад был случайностью, Запад «подвернулся». Она ничуть не была соблазнена блеском, скажем, парижской литературной культуры, хотя ясно этот блеск видела, полностью его признавала и отдавала себе отчет, что в Париже ей есть чему поучиться. Запад сиял перед ней во всем своем прочном, многовековом ореоле, а случаи вроде многим из нас памятной комически-высокомерной, рассейски-заносчивой статьи Шмелева о Прусте были исключением. Но если бы нас спросили, «то ли это, чего вы ищете?», ответ был бы: «нет, не то». Дома на Западе мы не были.

**
*

Чего же мы хотели? Думаю, — по крайней мере, надеюсь, — что нет никого, кто не понял бы беспредметности такого вопроса. Настаивать на нем можно только

при предвзятом стремлении изобличить, вывести на чистую воду, во что бы то ни стало продемонстрировать наготу короля. Мы знали чего не хотим, но чего хотим — не знали. Однако в плоскости исторической кое-что можно было бы объяснить, сославшись на тот литературный период, который принято называть декаденством или модернизмом. К 1917 году он как будто выдохся, однако не совсем, и вскоре ожил в новых формах, в новом «преломлении», правда уже ослабленном, почти что призрачном.

Было в русском модернизме много глупого, шарлатански-крикливого, ребячески-вычурного: это бесспорно. Но было и что то незабываемое, редчайшее, и как никто другой чувствовал это Блок, «трагический тенор эпохи», по определению Ахматовой, — трагический потому, что безнадежно и беспомощно ему хотелось в мечте обнаружить правду.

С Блоком у нас счеты трудные, до сих пор не вполне ясные. Но с каждым годом отчетливее вырисовывается то, что облик его возвеличивает. Блок дорог вдвойне: и тем, что он уловил в воздухе своего времени струйки, которыми никто прежде не дышал, и тем, что он отказался от них, подозревая — ошибочно или нет, как знать? — обман, иллюзию «последнюю лесть горше первой». Блока измучила совесть, измучила потребность в этическом оправдании эстетики, и это дает ему среди даровитых и ученых современников, которые на учительство претендовали, и претендовали основательно, место исключительное. Блоку чужда была беспечность, столь характерная для остальных деятелей русского литературного Ренессанса, или как теперь повелось выражаться — Серебряного века. Блок — друг, верный спутник, и потому-то и учитель: чувствовалось, что на полдороге он не бросит. Блок запутался, зашел в тупик, но потому-то и близок всякому, кто знает, что от тупика не застрахован. Замечание, которое к сожалению надо наконец сделать,

хотя бы во имя беспристрастия: повидимому Блок, при всем своем чутье, при глубокой интуитивной мудрости, не был умен в смысле сметливости, в смысле быстроты и точности разума, в том смысле, в каком обаятельно умен, например, Пушкин, — что отчасти и объясняет его срыв к «Двенадцати» (с удивительной авторской записью в дневнике: «сегодня я — гений») или некоторые признания в письмах, которые следовало бы ради его памяти уничтожить: погиб, например, «Титаник», Блок радуется, «есть еще океан»! Блок повидимому оказывался иногда беззащитен перед натиском той грошевой, лже-мистической одури, которую культивировали передовые декадентствовавшие дантисты и присяжные поверенные, с бесподобной иронией описанные Андреем Белым в воспоминаниях о нем. Но в главном, в основном он остался на высоте, никем другим в то время не достигнутой. По внутренней линии он восходит, конечно, гораздо вернее к Толстому, чем к Вячеславу Иванову, — хотя, помню, как Алданов, толстовец, так сказать «дословный», сердился и с взволнованным недоумением разводил руками, когда я ему об этом говорил. Блок — нищета, предпочтенная богатству, неизвестно каким путем нажитому, победа над себялюбивым удовлетворением под предлогом принадлежностью к «элите», и в конце концов, именно в силу безупречной своей душевной честности, залог того, что не все в догадках русского модернизма было досужей блажью и выдумкой.

У нас было к этому «что-то» чувство верности, обостренное одиночеством и веяниями доходившими из России. «Тень несозданных созданий...», готовы мы были повторить, как пропускной пароль. Нам представлялось, что надо бы это продолжить, — и тут же мы останавливались смущенные воспоминанием о Блоке, его «трагическим» примером. Мечта должна была стать правдой, сны — реальностью, без той постылой фразеологии, которая в таких случаях нередко привлекается на помощь: есть будто бы реальность высшая, а есть низшая, —

чепуха, ложь, «слова, слова, слова», которыми впрочем бывают наполнены иные обманчиво-глубокомысленные трактаты, доставляющие их авторам почет и солидную известность. Возникали и сомнения, да и как могло их не быть? В глубине души, по складу своему «мы», — придавая этому личному местоимению значение самое собирательное, расширяя его до включения анонимных друзей, разбросанных волей судьбы по всему свету, — в глубине души, что же скрывать, мы были людьми толка скорей «достоевского», воспринимая Толстого преимущественно как упрек. И конечно, те леденящие, сулящие короткое, головокружительное блаженство, эфирные струйки, о которых я упомянул, проскользнули в нашу литературу именно при содействии Достоевского, или еще до него, но еле-еле уловимо с Лермонтовым. Пушкин и Толстой — наши вершины, но беседа у нас легче налаживалась с Достоевским и Лермонтовым, они меньше нас стесняли и в общении с ними, нам было больше по себе. С Достоевским в особенности, по меньшей его сравнительно с Лермонтовым загадочности. В вольных, произвольных, нередко плохо кончающихся умственных странствованиях Достоевский даже казался вожатым с Бедекером в руках. Только заглянуть в книжку, полюбопытствовать насчет маршрута он нам не давал, — да и знал ли, что в ней содержится, сам?

**
*

Несколько слов о Бунине.

Замечательно, что после смерти он «вернулся в Россию», один из всех, во всяком случае первый из всех, и что долгая, ожесточенная его распря с ней оказалась причислена к недоразумениям. Еще раз это подтверждает, что политические расхождения не играют в творческой участи решающей роли. Скажут может быть: Бунин — самый крупный, самый известный из эмигрантских писателей, оттого им и заинтересовались, а потом

и оценили в России. Нет, дело не столько в размерах дарования, сколько в природе и свойствах его.

Довольно часто мне приходилось слышать, — и обычно я молчал в ответ: «вы, который так любите Бунина...», «вы, убежденный поклонник Бунина...» и так далее. Действительно я любил и люблю Бунина, но иначе, и далеко не так безоговорочно, как могло бы показаться по некоторым моим писаниям о нем. Сейчас я пишу «послесловие», и без Бунина в нем не обойтись. Надо наконец объяснить, «выяснить отношения», и это, думаю, поможет попутно разобраться в общих линиях наших здешних литературных стремлений.

Больше всего я любил Бунина как человека. Кто знал его, кому случалось провести в его обществе час-другой, в особенности, когда бывал он в ударе, согласится, что разговорной талантливости его нельзя было противостоять. Но при напускной резкости, при склонности все свысока вышучивать и надо всем посмеиваться, в нем безошибочно угадывались и душевные сокровища, которых он как будто сам стеснялся. Нежность? Истрепанное, мертвое слово, которое не знаю однако каким другим заменить.

Огромные достоинства бунинских писаний очевидны. Не к чему значит повторять то, что о них уже много раз было сказано. Особенно подчеркнуть сейчас мне хотелось бы только его острейшее, непогрешимое чутье ко всякой фальши, что необыкновенно отчетливо обнаруживается в его отзывах о чужих писаниях, — например во второй части книги о Чехове, оставшейся незаконченной. Читая те или иные из его приговоров, хочется иногда вскрикнуть: браво, браво! — настолько они верны, большей частью расходясь при этом с общепринятыми, традиционными суждениями. По части чутья ко всякой фальши, ко всякой театральщине, во всех ее видах, даже самых утонченных, хитрых, усовершенствованных и приперченных, у Бунина не было со-

перников, и это неотъемлемый его «патент на благородство», гораздо более значительный, чем решили бы те, кто отнес бы это свойство к одной лишь области стилистической. Кое в чем и кое в чем очень важном, Бунин вернее и глубже прав, чем Блок, вернее и глубже прав, чем Достоевский, не говоря уже о Пастернаке. «Доктора Живаго» он прочесть не успел, но зная его привычку делать на полях критические замечания, помня некоторые его лаконические отметки с твердым, властным восклицательным знаком в подтверждение оценки, я мысленно представляю себе, чем оказался бы на полях испещрен пастернаковский роман.

Но чувство фальши неразрывно связано с отказом от творческого риска, — хотя снова надо бы тут сослаться на Толстого и Пушкина, как на два наших верховных исключения из общего правила. В творчестве Бунина нет срыва, но нет в нем срыва вернее всего потому, что нет препятствий, которые надо было преодолеть. В творчестве этом нет борьбы. Под восхитительно раскрашенной поверхностью в нем ничего не происходит. Если бы восстановить внутреннюю биографию Толстого, или хотя бы только Блока, обнаружится драма с начальными данными, развитием и заключением. «Чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар», писал Блок, и если даже не обязательно, чтобы все кончилось пожаром, возможность его скрыта во всем самом великом, что людьми было создано. В идеальном, «сублимированном» плане, все написанное Буниным — это «Война и мир», но без «Исповеди» или «Воскресения», которые «Войну и мир» с исключительной силой не только отгенили, а и углубили. Бунин — превосходный, великолепный, чудесный писатель, но как будто не подозревающий о возможности животворящей личной заинтересованности в том, на что обречено человечество, и вместо того предпочитающий услаждать и очаровывать его. Правда, иногда и волновать, но и тут держась в раз навсегда установленных рамках.

Правильно ли было бы сказать, что «Жизнь Арсеньева», при всем ее стилистском блеске, книга чуть-чуть пресная? Не уверен: пожалуй чуть-чуть слишком ровная, гладкая было бы справедливее. Когда-то Ходасевич в обманчиво-хвалебной статье, вскользь, мимоходом, заметил: «на кладбище ему грустно, на балу ему весело», — и Бунин сразу понял, как это вкрадчиво-язвительно и как зло. Два или три раза, на расстоянии нескольких месяцев, он повторил мне эту фразу, бледнея от ярости. Но, Ходасевич сказал может быть самое меткое, что о Бунине вообще было сказано, — конечно, лишь в дополнение ко вполне заслуженным панегирикам и восторгам.

Бунин после смерти вернулся в ту Россию, с которой настоящей тяжбы никогда у него не было. Его и приняли там, как сына, лишь случайно — блудного. После долгой разлуки его узнали без труда и беспокойства: им, там, в возрождающейся России, с ее смешными и скучными литературными успехами, с литературными институтами, кружками, «учёбой», со стремлением «овладеть мастерством ведения рассказа», со студийной «работой над эпитетом» и прочим, прочим, прочим в том же роде, им там тоже на кладбище грустно, а на балу весело. Негодовать тут не на что, издеваться решительно не над чем. Иронический оттенок только что написанной мною фразы, сознаюсь, неуместен. Но опять, когда вспоминаешь, что Бунин, один из своего поколения, устоял перед соблазном декадентства, праведно возмущаясь его вздорной оболочкой, но не праведно окарикатурив его таинственную сущность, опять хочется с удивлением отметить, что линии рисунка сходятся и что в нем есть закономерность.

**
*

Геббельс говорил, что при слове «культура» первая его, инстинктивная реакция: схватиться за револьвер. Револьвера у меня нет. Но когда я слышу или читаю в

печати размышления о «парижской ноте» русской поэзии, чувства у меня возникают отдаленно-геббельсовские.

Чем ближе был человек к тому, что повелось «парижской нотой» называть, чем настойчивее ему хотелось верить в ее осуществление, тем несомненное он знает, что ее не было. Был некий личный литературный аскетизм, а вокруг него, или иногда в ответ ему, некое коллективное лирическое уныние, по недоразумению принятое за школу. Для образования школы подлинной вовсе не обязателен был бы признак географический, в данном случае — парижский. Состав пишущих был в Париже ведь случаен, отбор единомыслящих, единочувствующих крайне ограничен, и поэтическое содружество поневоле осталось искусственным. «Нота» могла бы сложиться иначе, — и к этому я снова возвращаюсь: могли бы, должны были бы найтись друзья, раскиданные по разным странам, одни, может быть, совсем молодые, другие — изведавшие все, что суждено было узнать тем, кого революция застигла взрослыми, духовные родственники, об одинаковом догадывавшиеся, одинаковое улавливавшие, готовые наладить перекличку еще до стихов, еще до того, как влюбились они в Анненского и выбросили Бальмонта с его последователями в сорную корзину.

В Париже «ноты» не возникло, — пожалуй все-таки за двумя-тремя исключениями, которым жизнь помешала в согласном порыве одушевить ее и довести до убедительной высоты и силы. Остальные, мнимые ее адепты — не в счет, по крайней мере, в качестве адептов именно «нотных», да ведь и сообщено им было только то, чего надлежит избегать: то, что следует развить, оставалось тайной. При отрицательном методе выработки стиля, внешнего и внутреннего, неудивительно, что поэтические парижане пристрастились к тону серым, тусклым и к напевам тихим, меланхолическим вместо громоподобных гимнов, од или обличительных филиппик. В самом деле им проповедывали возведение и эмоциональ-

ного и словесного скептицизма в добродетель: бесцветность и была плодом ее. Мало, кто догадывался, что бесцветность — лишь нечто вроде первой большой узловой станции на посвяtitельном пути к поэзии, со всевозможными разветвлениями вдаль или если даже завершение пути, то лишь после преодоления всех красочных соблазнов. Поздно, впрочем, теперь об этом толковать, да и повторяю, было все-таки два-три счастливых исключения...

Утверждают, что авторство выражения «парижская нота» принадлежит Поплавскому, не имевшему, кстати сказать, к ней почти никакого отношения, творчески слишком непоседливому и в даровитости своей слишком расточительному, чтобы какую либо дисциплину принять. Пользуюсь этим словом в первый и, надеюсь, в последний раз, пользуюсь для удобства, в качестве «рабочей гипотезы», и попробую вкратце рассказать, что заложено было в замысле «ноты», что неизбежно должно было привести к ее истаиванию, и, может быть, все-таки, в некоторых уединенных сознаниях, к памяти о ней, как о чем-то таком, ради чего стоило остаться ни с чем.

В основе, в источнике было, конечно, гипнотически-неотвязное представление об окончательном, абсолютном, незаменимом, неустрашимом, — нечто очень русское по природе, связанное с вечным нашим «все или ничего» и с отказом удовлетвориться чем либо промежуточным. На Западе нам было не по себе, на Западе мы не были «дома» именно потому, что здесь это «или-или» ни сочувствия, ни отклика не встречало. В поэзии французы предлагали нам оценить какие-нибудь необыкновенно смелые, необыкновенно меткие образы, а мы недоумевали: к чему они нам? Образ можно отбросить, значит его надо отбросить. Образ по существу не окончателен, образ не абсолютен. Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из «да» и «нет», из «белого» и «черного», из «стола» и «стула», без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без по-

эзии! Виньетки и картинки, пусть и поданные на новейший сюрреалистический лад, нам не нужны (как не нужна и футуристическая ругань Маяковского. Маяковский до конца жизни не почувствовал, что «к чорту» или «наплевать» всего только изнанка манерности, по существу то же самое, что маркизы, пастушки, цветочки и птички).

Для наглядности я упрощаю, отчасти и заостряю. Но основное было именно в ощущении: то, что может поэзией не быть, не должно ею и казаться, не достойно ее имени. Поэзия — порыв, полет, говорили и говорят нам, поэзия — крылатое вдохновение, забвение обыденщины, веселое преображение, радость, торжество свобода! Допустим. Но если поэзия — это порыв, полет и все прочее в том аспекте, в каком это вызывает «переходящие в овалцию» аплодисменты любителей всего изящного и прекрасного, то разрешите, товарищи или господа, вернуть билет на вход в поэтические сады, по примеру Ивана Карамазова. Не интересно. «Нота» может быть скучна, но это еще скучнее.

В поэзии должно, как в острие, сойтись все то важнейшее, что одушевляет человека. Поэзия в далеком сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой: если вдуматься, это то же самое. Но с каждой написанной строчкой приходилось горестно убеждаться, что это недостижимо, и оттого мы умолкали, или же писали стихи, над которыми сами готовы были усмехнуться: писали по привычке, от нечего делать, как от нечего делать ходят в гости или обсуждают текущие новости.

Сравнение, которое давно уже было сделано: в руках у человека роза или, если угодно, кочан капусты, — поскольку роза ничуть не лучше и не хуже кочана капусты. Листик за листиком, лепесток за лепестком: не то, не то, ибо то, что единственно дорого, единственно нужно таится в глубине, — пока не видишь, что нет в руках ничего! А подбирать и собирать рассыпанные лепе-

стки нет ни малейшего желания: пусть подбирают те, кому они нравятся. Впрочем, они и не оборвали бы их! Не знаю, как сказать об этом яснее.

Зинаида Гиппиус, — которую мне трудно вспомнить без того, чтобы не вспомнить, что Блок справедливо назвал ее «единственной»: да единственная, хотя и притворщица неисправимая, выдумщица несносная, но единственная в способности всё безошибочно уловить, всё оценить и понять, — Зинаида Гиппиус когда-то сказала мне: «в сущности, вы хотите, чтобы в стихах не было слов». Да, но не в фетовском значении «сказаться без слов», т. е. унести на поэтических крылышках в поднебесную высь, — совсем не в этом смысле: нет, найти слова, которые как будто никогда еще не были произнесены и никогда уже не будут заменены другими. Их не было и оставалось только свернуть с дороги, которая от волшебной удачи отдаляла и представление о ней искажала.

Довольно о «ноте». Добавлю еще одну только формулу, принадлежащую человеку, забыть которого мне еще труднее, чем Зинаиду Гиппиус, — Борису Поплавскому. После одного из долгих ночных монпарнасских разговоров он помолчав сказал, — будто подводя итог своим доводам:

— Знаете, что это такое? Это — поэзия от Пилата.

Остроумно в высшей степени: умываю руки, не могу сделать того, что хорошо, но не хочу и участвовать в том, что плохо. (Поплавский сказал именно «от», вероятно вспомнив, что «Евангелием от Пилата» незадолго до того Мережковский назвал книгу Ренана). В устах Поплавского это был упрек. Но ему было чуждо многое, что внушено было крушением нашего мира и образовавшейся после исчезновения пестрых, долго державшихся декораций пустотой. А «нота» конечно, была с этим связана: хотелось протереть глаза и спросить себя, что без привычных подпорок надо мне в жизни сделать и куда без костылей могу я дойти?

Конечно, это — эмигрантская тема, одна из тех тем, которые в эмигрантской литературе должны были бы оказаться, наконец, развиты, и по прямой линии это наследие русского символизма в том, что не было им досказано. Отцы, может быть, отреклись бы от детей, но дети свою родословную знают и в ней их не собьешь.

**
*

Все, что пишешь здесь, почти все, о чем здесь думаешь, обращено туда: откуда мы уехали. Но попутно сводишь счеты и с самим собой, и может случиться, что в воображаемом, полуирреальном «там» не все окажется понятно, — не логически, а внутренне понятно: даже те, кто к пониманию расположен, восстанавливать ли рисунок, о котором речь? Дочертят ли мысленно линии, оставшиеся неясными?

«Le vent se lève, il faut tenter de vivre», «Поднимается ветер, попробуем жить», вспоминается мне строчка поэта в качестве необходимого комментария к сказанному, отчасти и к словам Поплавского. Вспоминаются и другие строчки:

Прошлое страстно глядится в грядущее,
Нет настоящего . . .

Значит, «продолжение следует». Должно бы последовать, если только не развеется в пустоте: предпочитаю однако наклонение сослагательное.

Стихи, написанные в стране Зе-Ка

Тель-Авив, январь 1963

Дорогой Роман Николаевич, —

Писанию стихов я предавался в возрасте от 10 до 25 лет. Я рано сменил стихи на непозитическую прозу... но, попав в советский лагерь на 40 году жизни, пережил неожиданно рецидив молодости. Стихами, которые тогда складывались со внутренней необходимостью, я оборонялся, упорствовал, носил их в себе и жил в их ограде, как за невидимой стеной. Для печати они не предназначались, хотя и писались «в идеальном присутствии» дорогих мне людей, во внутренней беседе с ними. Теперь, когда один-единственный день из жизни Ивана Денисовича дошел, наконец, до сознания миллионов, я перечитал эту старую тетрадь, и мне кажется, что она имеет ценность документа: «чужестранец-еврей в лагере». В этом качестве она представляет дополнение к ранее написанной мною книге, хотя хронологически стихи ей предшествуют.

«Стихи на случай сохранились.
Я их имею. Вот они».

Ю. М.

ПРИБЫТИЕ В МЕДВЕЖЕГОРСК

... А под вечер девятого дня
О, милый друг! — пожалели меня,
Отворили кочующий гроб —
И мы вышли толпою тревожной.
Резкий ветер рванулся нам в лоб
И заглох за оградой острожной.

Шли мы молча, в грязи и пыли,
Каторжане карельской земли.

Конвоиры с винтовкой на руку
Матерщиной крестили наш шаг.
Знали мы, что неистовый враг
Осудил нас на горькую муку:
«Не вернетесь на родину больше,
И на веки заглохнет ваш дом!
В Палестине, Америке, Польше
Будут вдовы при муже живом,
Будут дети расти сиротами...»
Милый друг! Дождись меня!
Там где хлеб поливают слезами
Хлынет море крови и огня.
В полутемной берлоге тюремной,
В ежедневной страде подъяремной,
Заклученный — в походном строю —
Устою! Устою! Устою!

Авг. 1940

ЗА ЧТО?

За то, что слишком счастлив был,
Не ранен был, и не убил;

И не обидел никого.
И не боялся ничего.

За мирный в солнце Тель-Авив.
За тот, шопеновский, мотив.

За сон и явь, за быль и новь.
И за тебя, моя любовь, —

Пойдешь в изгнание, в тюрьму,
В леса и топи, мрак и тьму.

С сумою, в рублище пойдешь.
Голодный, хлеба не найдешь.

И годы проведешь в плену,
А поседеешь — в ночь одну.

Зимой в отчаяньи нагом
Дрожать ты будешь пред врагом.

И плоть сойдет с твоих костей,
Как сходит снег с лесных путей.

1941

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Ночь. Барак. Слепая мгла
Камнем на сердце легла.

Я простерт и недвижим.
Чтож — давай, поговорим.

В дальнем городе моем
Сын и мать живут вдвоем.

Сын мой, помни об отце.
Помни об его конце.

Спросишь, как прожить тебе?
Мой ответ: живи в борьбе.

Я и мертвый научу
Ненависти к палачу.

Мать, ты все поймешь любя.
Слово «мечь» не для тебя.

Можно все преодолеть,
Даже лагерную клеть,

Даже каторжную ночь
Силой сердца превозмочь.

Знаю, друг... Но иногда
Память гаснет... без следа.

Враг подходит. Не уйти.
Дух нельзя перевести.

Крикнуть в помощь — силы нет.
Вспомнить слово — мысли нет.
Шевельнуться — власти нет.

Хочешь встать — и встать нельзя.
Хочешь петь — и петь нельзя.
Хочешь жить —

ФЕВРАЛЬ

Теперь весна. Алеют анемоны
Вдоль солнечной дороги в Магдиэль.
И нежно дышет в полдень озаренный
Натании морская колыбель.

Теперь весна — и Новый год растений.
У вылета веселой Алленби
Шумит толпа, и как поток весенний
Звучит язык восторженной любви.

От горных троп высокой Галилеи,
До Эмека, где сад моей земли,
Бегут на юг цветущие аллеи,
В жемчужном блеске тонут корабли.

И сердце ждет — и так по детски верит,
Что снова мы — под праздник — обновим
Бананы роцц над озером Кинерет
И виноград из Кирьят-Анавим.

Страна моя! Еще мы будем вместе,
И молодость, как пламя оживет.
Жить! Только жить! чтобы земле-невесте
Когда-нибудь во всем отдать отчет.

О, юные весенние порывы!
Наивные и пылкие мечты!
О, милый друг!

на взморье Тель-Авива
Все ждешь меня, потерянного, ты.

Открыта дверь. Семья в угрюмом сборе.
Слова спокойны и глаза сухи.
Как передать накопленное горе?
.
А я — пишу — российские — стихи.

АФ-АЛЬ-ПИ*

(Б а н щ и к)

В грозный день Суда и Воздаянья,
Милый друг, ты плачешь обо мне.
А у нас в тот день — парная баня.
Банщики работают вдвойне.

* «Аф-аль-пи» на иврите: «quand-même», «несмотря ни на что».

Я качаю воду у колодца,
В деревянный бак прилежно лью.
Много ведер за день соберется,
Много песен я тебе спою.

Водовозы в чоботах тяжелых
Славили у нас Ерусалим.
Помнишь? Вот бы я сюда привел их,
Показать мое хозяйство им.

Я багор глубоко опускаю,
Тяжело кольшется ведро, —
И тебя с улыбкой вспоминаю,
Нашу веру в счастье и добро.

В Судный день в далеком Тель-Авиве,
В Тель-Авиве бело-золотом,
Помолись о бедном водоливе,
Заступись за плоть его постом.

Вымоли прощенье — Бога ради —
Всем, кому грозящий близок меч.
А под вечер — разверни тетради,
Где вписал я память наших встреч.

Над последней прерванной строкою
Слез не лей, и сердце укрепи, —
И впиши спокойною рукою
Три коротких слова:

Аф-аль-пи.

Круглица 1942

В то утро будет светлая роса
Как слезы, и на поле лучезарном
Взовьются молодые голоса
В порыве сил и гимне благодарном.
В то утро грянут хоры деревень
Псалом Давидов — по дороге дети
Пройдут в венках — как сон тысячелетий
И родина мне скажет — Добрый день.

**
*

О, добрый день! — Конец бездомных лет,
Окончены сиротские скитанья,
Земле и солнцу и живым — привет,
А кто не дожил — мир воспоминанья.
Теперь за труд! за плуг! за турию!
Давай перо на подвиг громовержца.
Есть место мне в моем родном краю,
И голос — петь! и выход силам сердца.

(1942)

ДОБАВКА

Помоги же мне, родина-мать!
Хоть приснись в эту ночь без просвета,
Хорошо хоть на миг посидеть — подремать
У костра отгоревшего лета.

Есть на юге край гордых надежд.
Все там живо, что здесь обмануло.
Вот я вижу себя среди грома и гула
На перроне варшавском — экспресс в Букарешт
И дорога к мечетям Стамбула.

И все так же сияет Босфор.
 И в полуденном зное — весь белый —
 Пароход наш плывет в неоглядный простор.
 Вот и Мармара и Дарданеллы,
 Где боролся герой Трумпельдор.

Звонко плещет лазурная влага,
 И дельфины вокруг корабля.
 В мыслях ясность, и в сердце отвага:
 Там, за далями Архипелага,
 Поджидает родная земля.

Что мне мраморы Пентеликона,
 Что Афины! Дороже стократ
 Палестинская стайка ребят.
 Наши дети собрались на холм Парфенона,
 Слышишь речь их? Смеются, шумят...

Море Черное, Константинополь,
 Острова и скалу, где Акрополь,
 И Афин ослепительный вид, —
 Все отдам за их звонкий иврит.
 Нам, изгнанникам старой Европы,
 В нем столетий душа говорит.

Пароход отошел от Констанцы,
 И под первой вечерней звездой
 Льются песни и пляски и танцы.
 Слышишь г о р р ы напев молодой?
 Мать-отчизна! Мы едем — домой!
 Стар и млад, мы поем «Эйзе Пеле»,

«Эйзе Пеле» поем в унисон.
 Что за чудо, друзья, в самом деле,
 Это чудо чудес, и не сон,
 И не выдумка! — Там, на Кармеле,
 Ныне — в эту минуту — маяк
 Посылает нам дружеский знак:
 Это Хайфа огнями врезается в мрак.

Завтра — завтра нас родина примет,
Поседевших на долгом пути,
Но успевших огонь донести, —
И долина Шарона обнимет,
И в тот город, где Радость живет,
Нас последний примчит переход.

А пока —

я сегодня пришел под окно
Кухни лагерной, рваный, голодный и нищий,
Клянчить суп у раздатчика пищи.
«Хоть немного долей — хоть на дно...»

Голод мучил... Лоснящийся ж и д,
Сытый кашей по горло, в окно мне кричит:
«Дальше! Следующий! Проходи ка!»
Как мне стыдно отказа!

И жутко от крика! —

За столом, где довольно и хлеба и супу,
Если ж и т ь суждено, до конца моих дней
Этот ж е с т буду помнить, и голос, и группу
С котелками из жести молящих «долей!»

Если жить суждено — как же всласть мы напьемся
Из источника дружбы воскресшей душой!
Если жить суждено — я клянусь! — мы добьемся
Для всемирно голодных — добавки большой!

Круглица 1942

СВОБОДА

В горах Ливана кедры Соломона
Еще стоят прямые, как колонна.
Все пережил таинственный их рост:
Пожар святынь, падение народа,
Смерть на земле и в небе гибель звезд.
Они стоят — и в этом их свобода.
...А наша в чем?

— В мелодии Моцарта,
Мечте поэта, — подвиге Декарта.
В горах Тель-Хая умер Трумпельдор.
Свободно выбрал жертвенный костер
Ян Гус и Бруно... Слушай! Я в плену,
Но я своей судьбы не прокляну.
Свобода есть и будет. — Станем вместе
С тобой, мой друг, в кольце сплетенных рук.
Свобода жить вне горечи и мести —
Вот высшая из всех земных наук.

Круглица 1944

МУЗЕ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

О Лилия — Лиана,
О Лилиана Ли!
Все города и страны
С тобой мы обошли.

И все что волновало
Мы снова посетим:
Палермо и Раппало,
Венецию и Рим.

Венгерские равнины
Долины Пуату
Развалины Берлина
И город Тимбукту.

У входа в Кампо-Санто
Гробницы нас зовут.
Певцы и музыканты
Играют и поют.

Цветные попугаи,
Бухарские ковры
И каравансераи
Предместий Анкары.

Волшебный рай Ливана
И пальмы Сомали —
О Лилия, Лиана,
О Лилиана Ли!

От севера и юга
На запад и восток
С тобой, моя подруга,
Я мир изведать мог.

По разному встречали
Нас разные края,
Но жизни без печали
Нигде не встретил я

Печали без улыбки,
Улыбки без мечты,
И без цыганской скрипки
Последней нищеты.

О Лилия Лиана,
О Лилиана Ли!
Сойдем на берег рано
Родной моей земли.

Взовьется гордый вымпел
Над рейдом золотым,
И все, о чем чужим пел,
Я повторю — своим.

Я им рассыплю бусы,
Огни и жемчуга,
Рассказы и турысы
Про дальние снега.

Неслыханные сказки,
Невиданные сны —
И песни без опаски
Из северной страны.

1 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

Как танки в ночь — зловещею громадой
Идут года, — и каждый новый год
Встает на небе черною громадой,
Страшилищем терзаний и забот.
А телу жить, — а сердцу верить надо.

Измученный — подавленный судьбой —
Истерзанный — еще я верить смею,
И в тишине беседую с тобой,
Единый друг в моей ночи слепой,
Единый друг под небом Иудей.

И в тишине рассказываю я
Ночную повесть зла и униженья,
О том как люди предали меня
И обрекли на смертные мученья.

Недобры люди в этой стороне.
Суров их труд и круты их ступени.
Никто из них не улыбнулся мне,
Не разделил ни мыслей, ни волнений.

И я, который озираю века,
Исследуя глубины мироздания,
Здесь прожил годы жизнью червяка
И принимал как нищий подаянье.

И зависть я узнал — когда при мне
Варили люди котелок картошки,
А я сидел безмолвный в стороне,
Закрыв глаза, пока стучали ложки,
Незванный гость — чужой при их огне.

Узнал я ненависть — и стыд — и страх,
И как лоза клонился не ломаясь,
И как ребенка носят на руках,
Я нес мечту о лучших временах:
Есть родина — и счастье — и весна есть

И человек преодолет зло.
Упрямей нас не знали поколенья.
Каким бы ветром нас не пригнело,
Каким бы снегом нас не замело
В чудовищных притонах преступленья.

Концлагеря и танковые рвы,
Неистовства московских трибуналов
По шею в человеческой крови
И оргии немецких каннибалов
Переживем — во что бы то ни стало.

Но помни! Если я приду домой
И стану у ворот Ерусалима —
Весенних дней не вспоминай зимой,
Не спорь со мной — не ратуй надо мной,
Ведь прошлое уже невозвратимо.

Им не гореть обугленным годам,
Как не взойти украинским садам,
Где немцы с корнем вырвали деревья.
На месте их другие процветут.
Но лагерных проклятых лет кочевья
Не возвратит из пепла поздний труд.

ВОСПОМИНАНИЯ

И

ПИСЬМА

Выдержки из писем И. Э. Бабеля

К МАТЕРИ И СЕСТРЕ (1925-1939)*

1 9 2 5

Сестре из Москвы, 12 мая.

....Зиму я провел худо, сейчас чувствую себя хорошо, очевидно, северная зима действует на меня губительно. Душевное состояние оставляет желать лучшего — меня, как и всех людей моей профессии — угнетают специфические условия работы в Москве, то есть кипение в гнусной, профессиональной среде лишенной искусства и свободы творчества, теперь когда я хожу в генералах это чувствуется сильнее, чем раньше. Зарботки удовлетворительны...

1 9 2 6

*Матери из Хреновой, Воронежской губерн.,
29 сентября.*

Милая мама, я очень хотел бы, чтобы ты немного успокоилась и посмотрела на мир не такими печальными глазами. Я теперь живу разумно и, думаю, готовлю для всех нас возможность лучших времен, заботиться обо мне не надо в важных основных делах я всегда был человеком себе на уме; главный ужасный унаследованный от тебя недостаток — это слабохарактерность моя, которую не знающие меня люди могут принять за дурные поступки, но теперь я вроде как поумнел даже и в этом отношении.

Матери из Москвы, 5 ноября.

Милая мама. Я теперь много работаю. Кроме того у меня много душевных невзгод. Ты знаешь главное условие

* Примечания к выдержкам из писем см. страницу 113.

успешности **моей работы** — это покой. Люди и обстоятельства лишают меня покоя. Во многом я сам виноват, многое происходит помимо моей воли. Теперь ты присоединилась к людям, лишаящим меня покоя. Я думаю, что это нехорошо и безжалостно по отношению ко мне. Если мне не будут мешать, если меня не будут мучить — то мои, а следовательно и ваши беды скоро кончатся. Я ни у кого не прошу помощи, но горько думать, что самые близкие люди губят меня, сами не зная о том.

1 9 2 7

*Матери из Киева, 26 марта.**

Вчера впервые читал мою новую пьесу. Успех велик и если бы не моя скромность, я сказал бы громаден. Каким образом я мог при ужасающих таких обстоятельствах сочинить что-то путное — никак в толк не возьму. Посылаю тебе вырезку из сегодняшней газеты, посылаю потому что это первые строки о новом моем детище.

1 9 2 8

*Матери из Парижа, 2 апреля.**

Пьеса все таки идет в Москве. Теперь уже все знают, что я сделал *mon possible*, но театр не смог донести до зрителя тонкости, заключающейся в этой грубой по внешности пьесе. И если она кое-как держится в репертуаре, то, конечно, благодаря тому, что в этом «сочинении» есть от меня, а не от театра. Это можно сказать без всякого хвастовства. Теперь — Московские новости. Вслед за Полонским из Нового Мира вышиблен Ольшевич и можешь себе представить — за что? За пьянство. Он учинил в пьяном виде какой-то дебош в общественном месте и течение его карьеры прервалось. Очень жалко. Я всегда любил эту разновидность людей — а йид, а шикер... Но самое как говорится, пикантное впереди. На место Ольшевеца назначен... Ингулов. Я получил от него очень трогательное письмо — что вот мол мы начинали вместе, что я первый в вас поверил и теперь судьба, после нескольких лет перерыва, снова сводит нас на тех же ролях и это мы и на этот раз покажем миру... и прочее, и прочее... Действительно в этом возвращении «ветра на круги своя» — есть что то символическое и мне лично очень приятное...

*Матери из Парижа, 21 мая.**

В России вышел сборник статей обо мне. Читать его очень смешно, — ничего нельзя понять, писали очень ученые дураки. Я читаю все как будто писано о покойнике — так далеко то, что я делаю теперь от того что я делал раньше. Книжка украшена портретом работы Альтмана, тоже очень смешно, я вроде веселого мопса. Сборник этот pošлю вам завтра. Пожалуйста, сохраните его, надо все таки собирать коллекцию.

Матери из Киева, 20 октября.

Я занят с утра до вечера делами литературными, коммерческими, налоговыми — ношусь по всяким учреждениям, ору, клянчу — думая что все уладится хорошо. Несмотря на все хлопоты — чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно — но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь.

*Сестре из Киева, 28 октября.**

Сегодня воскресенье — свободный день. Я выспался, напился в «ёдалне» превосходного чаю, закусил горбушкой превосходного черного хлеба с маслом, прочитал в «Правде» письмо Буденного Горькому, возвеселился, даже разбух от удовольствия и вот от полноты чувств пишу вам, милые мои, поклон. Все было бы хорошо, если бы не мамина болезнь. Утешьте, напишите поскорее.

1 9 3 0

*Матери и сестре из Москвы, 27 апреля.**

Все у меня благополучно, работаю, чувствую себя очень хорошо, смерть Владимира Маяковского внесла только смятение. Основная причина, как говорят, неудачная любовь, но конечно тут есть и годами накопленная усталость. Разобрать трудно п. ч. предсмертное письмо его не дает никакого ключа. Мама верно помнит, как он громадный и цветущий, приходил к нам еще в Одессе... Чудовищная смерть...

Сестре из Москвы, 26 мая.

Я думаю, что у тебя и у мамы мания беспокойств принимает формы душевной болезни. Поистине это чудовищно. Очевидно, вы не переносите простейших прикосновений жизни — или вообще не имеете представления о том, что такое жизнь, как надо отбирать радости ее от горестей, вы не знаете меры горестей и истинной их классификации. Всякое житейское происшествие принимает у вас размеры *démesurés* и одна из главных моих задач при свидании с вами — это вернуть вас к ощущению действительности... Трудности борьбы (и самой тягостной борьбы, работы внутреннего совершенствования) мне известны лучше чем вам, но никогда *la joie de vivre* не оставляет меня, а я видел дела на моем веку... И никак меня особенно природа не создала, а я не ленюсь воспитывать в себе мужество, упрямство, спокойствие. Право, Мерочка, или вообще надо решить, что прозябание наше на этой планете вещь нестерпимо грустная — или... опомниться и познать меру вещей... За последние годы я пассивно только принимал участие в вашей жизни — но вот теперь собираюсь железной рукой прекратить эту мерлехлюндию... Люди стареют, люди хворают — таков ход вещей, но зачем ладонями заставляя от себя солнце... И тебя и маму — я прошу исключить из сферы беспокойств — меня и все что со мною связано. У нас и дом будет, и покой, и работа — и все мы вместе будем — все это сделается — нечего издавать тут сопли и вопли — сопли на вопли... Я тебе верно говорю, что никогда не чувствовал себя в таком ударе, как сейчас, никогда так твердо не стоял на ногах — поэтому все охи по поводу моей персоны кажутся мне просто глупыми, удивительно глупыми. Мне, дураку, кажется, что надо радоваться, имея сына с такой несокрушимой философией — а тут сопли на вопли... Фэ это глупо... И я все больше люблю Наташей, с ней очевидно можно сговориться...

Матери из Москвы, 14 декабря.

Что же касается видимого неблагополучия литературной моей биографией — то до сих пор я блистательно опровергал страхи близоруких моих поклонников, это будет и впредь. Я сделан из теста, замешанного на упрямстве и терпении — и когда эти два качества напрягаются до высшей степени, тогда только я чувствую *la joie de vivre*, что имеет место и теперь. А для чего мы живем в конечном счете? Для наслаждения, понимаемого в широком смысле,

для утверждения чувства собственной гордости и достоинства. Что же худо? Худо единственно то, что я удален от своей семьи, привязанность к которой с каждым днем я ощущаю все сокрушительнее. Разделенность эта на 100% вызывается объективными условиями, совладать с ними иначе чем делаю я — невозможно, если хотеть sobлюсти чувство достоинства и чистоту и гордость в работе.

Матери и сестре из Москвы, 15 декабря.

Только что мне сообщили из Госиздата, что последнее издание Конармии разошлось в рекордный и небывалый срок, чуть ли не в семь дней — и требуется новое переиздание, за которое полагается новый гонорар... Я написал Жене — что похоже — эта лошадка нас и до весны довезет... И лошадка то второго сорта — а вот пойдя разбери читателя...

Засим — будьте здоровы! Будьте обязательно здоровы.

Исаак Спинноза

1 9 3 1

*Матери и сестре из Молоденово, 11 февраля.**

Программа такова — несколько дней пробуду в Москве, потом поеду на юг чрез Киев. В Киеве мне нужно побывать в Правлении Вуфку для которого я эпизодически исполняю кое-какие безымянные работы, потом хочу еще побывать в приснопамятной Великой Старице, оставившей во мне одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь. Потом проеду южнее на несколько дней в новые еврейские «мужичья» колонии. Потом обратно в Молоденово.

*Тем же из Молоденово, 24 мая.**

День 22-го провел за городом на даче у Алексея Максимовича. Встретились мы с прежней любовью. Впечатления так сложны, что вот до сих пор не разберусь. Но старик, конечно, такой — какого другого в мире нет.

*Матери из Москвы, 17 июня.**

По отзывам — сочиняю я теперь лучше, чем раньше — так что слова твоего Слонима относятся к прошлому и для меня значения не имеют. Впрочем — надо мне отдать

справедливость — к критике, хвалебной и ругательной — я отношусь с полным самообладанием и знаю ей цену — чаще всего цена ей пятак...

Сестре из Молоденово, 3 июля.

Я здесь сразу отошел после Москвы и работаю с прежним упоением. Мне пришлось сдать кое какие рукописи, но редакторы требуют добавления; они правы, рассказы слишком злободневны, и для того чтобы печататься — надо бы подбавить современного материала — что я и делаю теперь. Правы-то редакторы правы, настала пора и вперед заглядывать, а не только на ближайшие две недели, но мне-то усилие большое надо сделать, для того, чтобы превозмочь все нарастающее нетерпение. Я счастлив тем, что у меня есть два щита от бед — работа, которую я люблю и Молоденово, моя крепость.

Сестре из Молоденово, 7 июля.

Жить мне стало много веселее чем раньше, не помню писал ли я вам, что в одном километре от Молоденово, в бывшем Морозовском доме поселился Алексей Максимович (для него выбрали лучшее из подмосковных мест) и так как правила, регулирующие людской поток вокруг него — на меня по старой памяти, не распространяются — то я иногда хожу по вечерам в гости... До чего поучительно и приятно неожиданное его соседство нечего и говорить... Вспоминается юность и хорошо то, что отношения, начавшиеся в юности, до сих пор не изменились...

*Матери из Молоденово, 14 октября.**

Перед отъездом я просил Катю послать вам и Жене по номеру журнала «Молодая Гвардия». Я там дебютировал после нескольких лет молчания маленьким отрывком из книги, которая будет объединена общим заглавием «История моей голубятни». Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переменено — когда книжка будет окончена — тогда станет ясно для чего мне все то было нужно. В этом же месяце появятся два рассказа в Новом Мире — один из той же серии, другой деревенский. Всем кто слушали — нравится, но... но покой ушел из моей жизни. Вот тут то и надо благословлять небо за Молоденово. После длительного перерыва я соприкоснулся с литературным базаром, многое меня взволновало, в деревне

я отхожу и снова принимаюсь за работу. Фенюшка, взялся за гуж — не говори что не дюж; отступать теперь некуда, надо гнуть линию... Родным моим да и мне самому, тяжело приходится от этой линии, но я знаю что скоро замолю свои грехи перед вами. Как видите началось последнее действие драмы или комедии — не знаю как сказать... Не толкайте меня, mes enfants, под руку, — если бы вы знали до чего нужны твердость и спокойствие этой руке...

Матери и сестре из Москвы, 7 декабря.

Редакции рвут на части — я не поспеваю за их требованиями. Неужели вы до сих пор не получили октябрьской книжки Нового Мира? Лит. журнал Звезда вам выслан. Обязательно надо было послать Молодую Гвардию Женеве.

1 9 3 2

*Матери и сестре, 2 января.**

Удивляюсь тому, что в зарубежной прессе пишут о таких пустяках, как Карл Янкель. Рассказ этот неудачен и к тому же чудовищно искажен. Я уже кажется писал вам, что его напечатали по невыправленному тексту (черновому) с ошибками, совершенно уничтожающими смысл. Вообще то что печатается есть ничтожная доля сделанного, а основная работа производится теперь. С похвалами рано, посмотрим что будет дальше. Единственное, что достигнуто — это чувство профессионализма и упрямства и жажда работы, которых раньше не было. Внешне же это проявляется пока недостаточно, случайно, скомкано, не в том порядке, как надо. Впрочем до всего дойдет очередь.

1 9 3 3

*Тем же из Сорренто, 5 мая.**

Вчера провели весь день с Алексеем Максимовичем Горьким в Неаполе. Он показывал нам музеи — античную скульптуру (до сих пор опомниться не могу), картины Тициана, Рафаэля, Веласкеца. Вместе обедали и ужинали. Старик выпил, и здорово. Когда мы вошли вечером в ресторан (расположенный высоко над Неаполем, вид города оттуда волшебен), где его знают уже 30 лет, все встали со своих мест, официанты кинулись целовать ему руки и сейчас же

послали за старинными певцами неаполитанских песен. Они прискакали — семидесятилетние, все помнящие А. М. — и пели надтреснутыми своими голосами так — что я верно во всю мою жизнь этого не забуду. А. М. плакал безутешно — пил и когда у него отбирали бокал — говорил: в последний раз в жизни... Незабываемый для меня день. Старуюсь изо всех сил ускорить приезд Жени и Наташи. Надеюсь, что они приедут недели через полторы. Мне не советуют посылать пьесу, надо бы, конечно, везти самому, я еще не решил, как поступить. Горькие уезжают девятого — есть советский пароход, идущий из Лондона в Одессу, им, конечно, выгодно поехать на нем. В доме остаюсь я да Маршак — великолепный наш детский поэт, надеюсь он подружится с Наташей. У Маршака тоже есть в Брюсселе сестра; очень возможно, что мы поедем в Бельгию вместе. А. М. взял у меня для альманаха три новых рассказа. Один из них мне действительно удался, только бы цензура пропустила. А. М. обещал прислать из Москвы гонорар валютой.

*Тем же из Нальчика, 8 июня.**

Я все ношусь по области (Кабардино-Балкарской) жемчужине среди советских областей — и никак не нарадуюсь тому, что приехал сюда. Урожай здесь не только громадный, но и собран превосходно — и жить, наконец, в нашем русском изобилии приятно. Был в горах — у подножья Эльбруса (все плакал, что семейство мое не видит этих красот) кочую по казачьим степям, скоро собираюсь обосноваться на одном месте, чтобы возобновить потерянную связь с миром. Думаю, что при правильном использовании и настоящем изучении моя поездка может дать большие результаты и даже в смысле свидания с семьей, в конечном счете.

*Тем же из Нальчика, 12 ноября.**

Работать еще не начинал, все кочую по этой стране чудес. Сегодня уезжаю в немецкий колхоз (один из богатейших и благоустроеннейших колхозов края) там возьмусь за ум. Ездили на охоту с Евдокимовым и Калмыковым — убили несколько кабанов (без моего участия, конечно) на высоте 2000 метров, среди альпийских пастбищ и на виду у всего кавказского хребта, от Новороссийска до Баку — жарили целых. Несколько дней провели в балкарском селении у подножия Эльбруса на высоте 3000 метров, первый день дышать было трудно, потом привык.

Матери из Нальчика, 4 декабря.

Бесценная мамашенька. Получил письмо твое от 25.XI со вложением личности (очень удачно получившейся). Что же касается среднего возраста — то унывать нечего, у нас ты была бы в моде. Завтра, например, открывается второй областной съезд стариков и старух. Они теперь главные двигатели колхозного строительства, за всем надзирают, указывают молодым, ходят с бляхами, на которых написано «инспектор по качеству» и вообще находятся в чести. Такие съезды созываются теперь по всей России, гремит музыка и старикам аплодируют. Придумал это Калмыков, секретарь здешнего обкома партии (у которого я гощу) кабардинец по происхождению, а по существу своему великий, невиданный новый человек. Слава о нем идет уже полтора десятилетия, но все слухи далеко превзойдены действительностью. С железным упорством и дальновидностью он превращает маленькую горную полудикую страну в истинную жемчужину.

1 9 3 4

Матери и сестре из Горловки, 20 января.

Сiju на чемодане, поэтому краток. Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее чем за все 16 лет революции.

*Тем же из Москвы, 18 февраля.**

Похоронили сегодня Багрицкого, старинного моего земляка, друга, замечательного поэта, за развитием которого я следил и помогал чем мог. Организм его был ослаблен и не выдержал воспаления легких.

*Тем же из Москвы, 13 мая.**

Главные прогулки по прежнему — на кладбище или в крематорий. Вчера хоронили Максима Пешкова, чудовищная смерть. Он чувствовал себя неважно, несмотря на это выкупался в Москва-реке, молниеносное воспаление легких. Старик едва двигался на кладбище, нельзя было смотреть, так разрывалось сердце. С Максимом мы очень подружились в Италии, сделали вместе на автомобиле много тысяч километров, провели много веселых вечеров за бутылкой Кианти...

Тем же из Успенского, 18 июня.

Живу на прежнем месте — у А. М. Как говорят в Одессе — тысяча и одна ночь. Воспоминаний хватит на всю жизнь. Продолжаю подыскивать укромное место под Москвой. Кое-что намечалось; в течение ближайшей недели на чем-нибудь остановлюсь.

По поручению А. М. занимался все время редакционной работой и забросил сценарий.

Матери и сестре из Москвы, 26 ноября.

В стране нашей происходят чудеса невиданно быстрый подъем благосостояния, такого напора энергии и бодрости поистине, мир еще не видел, все в ком есть «живая душа» стремится сюда; об этом надо очень подумать... Без преувеличения можно сказать, что нет города, где было бы интереснее жить, чем в Москве.

Я человек замученный делами, наукой, работой, волной людей, заливающей меня — поэтому не ведите бухгалтерский учет моих писем и сами пишите почаще. Целую всех, дорогие мои.

Матери из Москвы, 23 декабря.

Чувствую себя хорошо. Жизнь у нас необыкновенно интересна, но профессия, мною выбранная, вкусы мои, привила, — все или ничего — никогда не давали повода предполагать, что личная моя жизнь будет легка, будет шествием по розам и что каждый мой шаг должен вызывать ликование моих родных и знакомых. При рождении своем я не давал обязательства легкой жизни. Не будучи хвастуном, я имею право сказать, что так называемые трудности сносятся мною с легкостью и мужеством, не часто встречающимися, и, если я молчу об них, то это не доблесть моя и не дурной характер, а естественное и законное отвращение к такому неинтересному и незначительному сюжету. Вы создаете себе в отношении меня страхи там, где их нет и в помине. Единственная моя болезнь — это разлука с мамой, со всеми вами. Вместо того чтобы ныть — помогите мне, приезжайте жить вместе со мной.

1 9 3 5

Матери и сестре из Москвы, 3 февраля.

В Москве — Съезд Советов; из разных концов земли прибыли мои товарищи — Евдокимов с Сев. Кавказа. Из

Кабарды — Калмыков, много друзей с Донбасса. На них уходит много времени. Ложусь спать в четыре-пять часов утра. Вчера повезли с Калмыковым кабардинских танцоров Алексею Максимовичу, плясали незабываемо.

Матери из Москвы, 24 февраля.

Новость: решились напечатать Марию — она появится в Мартовском, или Апрельском номере журнала. Это хорошее предзнаменование для постановки.

Комедия моя медленно, но движется вперед — если бы мне ее закончить к Маю — вот дело было бы... Со мной странное превращение — прозой не хочется писать, только в драматической форме. —

Матери и сестре из Парижа, 27 июня.

Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи) имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать, как волк, в поисках материала — хочу привести в систему мои знания о ville lumière и м. б. опубликовать их.

1 9 3 6

Матери и сестре из Москвы, 2 июня.

В течение июня я стану домо- и землевладельцем. В тридцати километрах от Москвы, в густом сосновом лесу — выстроен комфортабельнейший дачный поселок — для меня там строится двухэтажный дом — со всеми удобствами. Он будет готов к 20-му июня — дом со всеми удобствами, к нему примыкает пол гектара и лесу. Это было бы совершенно идеально, если бы поселок не был писательский; но все мы решили жить особняком и друг к другу в гости не ходить.

Тем же из Москвы, 17 июня.

Начал я с шутки — кончать приходится серьезно. Здоровье Горького попрежнему неудовлетворительно, но он борется как лев — мы все время переходим от отчаянья к надежде. В последние дни доктора обнадеживают больше чем раньше. Сегодня прилетает André Gide. Поеду его встречать.

Тем же из Москвы, 19 июня.

Дорогая мамахен. Великое горе по всей стране, а у меня особенно. Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем неомраченной дружбы и любви связывают меня с ним. Теперь чтить его память это значит — жить и работать. И то и другое делать хорошо. — Тело А. М. выставлено в Колонном зале, неисчислимые толпы текут мимо гроба. День жаркий, летний. Немножко пройду. Напишу еще.

1 9 3 8

Матери из Москвы, 16 апреля.

Я борюсь с желанием поехать в Одессу и делами, которые задерживают меня в Москве. Через несколько дней перееду на собственную в некотором роде дачу — раньше не хотел селиться в т. наз. писательском поселке, но когда узнал, что дачи очень удалены друг от друга и с братьями встречаться не придется — решил переехать. Поселок этот в 20 км. от Москвы и называется Переделкино, стоит в лесу, (в котором кстати сказать, лежит еще компактный снег).. Вот вам и наша весна. Солнце редкий гость, пора бы ему расположиться по домашнему.

Матери из Москвы, 29 сентября.

Не помню, писал ли я вам о том потрясающем впечатлении, которое произвела на меня Ясная Поляна — стоишь в аскетических комнатах Толстого — и, кажется, что яростная работа мысли продолжается в них до сих пор!

1 9 3 9

Матери из Ленинграда, 20 апреля.

Уф! ... Гора свалилась с плечь.. Только что закончил работу — сочинил в 20 дней сценарий... Теперь, пожалуй, примусь за «честную» жизнь... В Москву уеду 22-го вечером. В Эрмитаже был уже — завтра поеду в Петергоф. Окончание моих трудов совпало с первым днем весны — сияет солнце... Пойду погулять после трудов праведных...

Матери из Ленинграда, 22 апреля.

Второй день гуляю — к тому же весна... Вчера обедал у Зоценко, потом до 5 часов утра сидел у своего горьков-

ского — времен 1918 года — редактора и на рассвете шел по Каменостровскому — через Троицкий мост, мимо Зимнего дворца — по затихшему и удивительному городу. Сегодня ночью уезжаю.

Матери и сестре из Переделкино, 10 мая.

К вашему сведению — сообщаю что второй день идет снег... Вот вам и десятое мая... Это, пожалуй, и Брюссельскому климату завидно станет... Я уже обосновался за городом и чувствую себя превосходно — надоело только печи топить. Завтра — поеду на день — в Москву. Думаю не найду ли письма от Мери — как она съездила?.. Жаль что мама не могла совершить с ней эту прогулку... Отправил Наташе несколько книг — внучку обеспечил, теперь надо подумать о бабушке, постараюсь достать завтра новой беллетристики... У меня ничего нет — в трудах; заканчиваю последнюю работу кинематографическую (это будет фильм о Горьком) и скоро приступлю к окончательной отделке заветного Труда — рассчитываю сдать его к осени. Пишите почаще, потому что длинных книг писать нет времени — и ваши послания — самое лучшее для меня чтение. Как Гриша, как Борис — часто ли вы с ними видитеесь?

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМАМ И. БАБЕЛЯ:

26.3.1927.

Новая пьеса — «Закат», напечатанная впервые в «Новом мире», № 2, в 1928 г.

2.4.1928.

«а йид, а шикер» на идиш значит: еврей, пьяница.

21.5.1928.

Имеется в виду: Статьи и материалы. Сборник под ред. Б. В. Казанского и Ю. Н. Тынянова Москва-Ленинград "Academia". 1928. (О-во изучения худож. словесности. Мастера соврем. лит-ры). Содержание: И. Бабель. Автобиография. — Н. Степанов. Новелла Бабеля. — П. Новицкий. Бабель. — Г. Гуковский. Закат — Библиография.

28.10.1928.

В газете «Правда» от 28.10.1928 г. появилось открытое письмо Максиму Горькому за подписью С. Буденного. Поводом для

письма явились выдержки из брошюры М. Горького, появившиеся в разных газетах 30.9.28 г. В своей брошюре Горький, сравнивая «Тараса Бульбу» Гоголя с «Конармией» И. Бабеля, ставит это последнее произведение намного выше гоголевского. С. Буденный, начальник Первой Конной армии, выражает свое возмущение «Конармией» и называет этот сборник пасквилем на его армию. Между прочим, он пишет: «Фабула его (Бабеля) очерков, уснащенных обильно впечатлениями эротоманствующего автора, идет от бреда сумасшедшего еврея, проходит через описание ограбления костела, избиения конницей своей пехоты, зарисовку типа красноармейца-сифилитика и оканчивается удовлетворением любознательности к тому, как выглядит женщина-еврейка, изнасилованная десятком махновцев. На жизнь автор смотрит, как на широкое поле где гуляют в майскую солнечную пору кобылицы и жеребцы, — и на действия конной армии он смотрит сквозь призму чистой эротики».

27.4.1930.

В. В. Маяковский покончил самоубийством 14 апреля 1930 г.

11.2.1931.

ВУФКУ — правление украинской кинематографии.

24.5.1931.

Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) вернулся, после продолжительного отсутствия, в СССР из-за границы.

17.6.1931.

Марк Львович Слоним, литературный критик, эмигрант, живший во Франции.

14.10.1931.

В сентябрьском номере за 1931 г. «Молодой гвардии» появился рассказ «Пробуждение».

В октябрьском номере за 1931 г. в «Новом мире» появились «В подвале» и «Гапа Гужва».

2.1.1932.

Рассказ «Карл-Янкель» появился в «Звезде», № 7.

5.5.1933.

Маршак Самуил Яковлевич (род. 1887), поэт, переводчик, детский писатель.

8.6.1933.

Кабардино-Балкарская область, автономная республика в СССР с 1936 г. Город Нальчик — столица.

12.11.1933.

Калмыков, Бетал Эдикович (1893-1958), секретарь Кабардино-Балкарского областного комитета. Был награжден несколько раз, как лучший руководитель хозяйственного строительства. Евдокимов его помощник.

18.2.1934.

Багрицкий, Эдуард (1895-1934, одессит) известный поэт, автор поэмы «Дума про Опанаса».

13.5.1934.

Максим Пешков, сын Горького, родился в 1897 г.

И м е н а :

Феодосия Ароновна Бабель — мать Исаака Эммануиловича

Мария (Мера) Шапошникова — его сестра

Женя или Ента (Евгения Борисовна) Бабель, урожд. Гронфейн, — жена писателя

Наташа — его дочь

Катя Ляшевская — тётя со стороны матери.

И. Э. Бабель писал письма от руки. Мы сохранили орфографию оригинала.

Составил Р. Г.

Грасский дневник

Уйдя из России и поселившись окончательно во Франции, Бунин часть года жил в Париже, часть — на юге в Провансе, который любил горячей любовью. В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме на горе над Грассом, бедно обставленном, с трещинами в шероховатых желтых стенах, но с дивным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг с цепью Эстереля и морем на горизонте, Бунины прожили многие годы. Мне выпало на долю прожить с ними почти все эти годы. Все это время я вела дневник, несколько страниц которого теперь печатаю.

Женева

1963 г.

Декабрь 1927.

... Шли по парку, полному пальм, кактусов, самой разнообразной формы, похожих то на гигантских инфузорий, то на пресмыкающихся, то на толстые зеленые подошвы, утыканные иглами. Восхищались великолепными агавами, имеющими форму громадных роз или тюльпанов зеленого цвета. Остановились у кустов мелких красных роз, свисавших сверху гибкими ветками. И. А. посмотрел и сказал: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам.

Чувствовал, что если поддамся — буду мучеником! Ведь я просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальцы: она ловит то, что ей надо и отстраняется от того, что бесполезно».

Потом остановились подле апельсинового дерева, покрытого крупными, уже желтеющими плодами. Он пригнулся, стал ходить под деревом, собирать упавшие апельсины, покрытые темно-зеленой шершавой кожей.

— Не могу видеть этого дерева спокойно, — сказал он. — Как увижу, как услышу запах апельсиновой корки, сейчас же вижу зиму на Капри, тусклый блеск на море, над которым ревет трамонтана, и сады, где под бледным солнцем зреют апельсины, в полусне, в дремоте... да, именно в дремоте, под этим бледным зимним солнцем, под зимним ветром... Нет, мучительно для меня жить на свете! Все меня мучает своей прелестью!..

Декабрь 1928.

Зашла перед обедом в кабинет И. А. Он лежит, читает статью Полнера о дневниках С. А. Толстой. Прочел мне кое-какие выписки (о ревности С. А., о том, что она ревновала ко всему: «к книгам, к народу, к прошлому, к будущему, к московским дамам, к той женщине, которую Толстой когда-то еще непременно должен был встретить»), потом отложил книгу и стал восхищаться:

— Нет, это отлично! Надо непременно воспользоваться этим, как литературным матерьялом... «К народу, к прошлому, к будущему...» Замечательно! И как это хорошо сказано, что она «была промокаема для всяких неприятностей!»

А немного погодя:

— И вообще нет ничего лучше дневника. Как не описывают С. А. — в дневнике лучше видно. Тут жизнь,

как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня! Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано... Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов... Жизнь — это вот когда какая-то там муть за Арбатом, вечереет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши... Да что! Вот бы так написать...

Потом о «Дыме», который читал по французски:

— Нет, что-то плохо. Фамилии ненатуральные... Вот г-жа Суханчикова — к чему он заранее над нею издевается? Это как у Фонвизина: Правдин, Стародуб, Милон... «Поручик Стебельков» какой-то!

24-го декабря.

Ходили гулять с И. А. перед сном. Полнолуние. Прекрасная, светлая высокая ночь с яркими звездами, скорее пасхальная, чем рождественская. Город пуст. Все в соборе, на мессе. Наткнулись на странную картину — на бульваре, на скамейке, очевидно выброшенные кем-то после предпраздничной уборки шляпы. Две из них траурные, с длинным крепом, тихонько шевелящимся на ветру, неприятно, почти жутко. В двух шагах от трамвайных рельс трупик белой собачки. Подогнутые лапки, лежит тихо, точно спит.

На подъеме к нашей вилле вдруг дружный и нестройно-веселый перезвон, похожий на пасхальный.

Мы остановились, долго слушали. На темной колокольне светился одинокий огонь, и от нее расходился кругами, разлетался над всем городом, над долиной и тихими горами радостный громкий перезвон. И. А. сказал с волнением:

— И вот так странно думать, что пятьсот лет назад звонили точно так же... И какой благостной защитой над всем, даже над смертью был этот перезвон! И как это есть люди, которые не понимают этого! Вот ведь я всегда

говору, что напрасно считают людьми всех. Есть две породы — из них одна низшая, у которой все, даже органы устроены иначе и такие хуже собак, потому, что даже собака что-то чувствует, машет хвостом, узнает хозяев, думает о том, что ее впустят в дом и она войдет туда с теплым нежным чувством...

С порога сада мы еще минуту смотрели, остановившись, на прекрасную светлую пустыню ночи...

12 мая 1929.

Вчера за обедом Илья Исидорович (Фондаминский) рассказывал о том, что читая два года об Империи он только в последние дни почувствовал ее, стал представлять ее себе:

— Каждую вещь представляешь себе как-то издали. Империю я представляю себе, как какой-то ассирийский храм, величественный и мрачный. Люди сгибались от тяжести этого храма. Они любили царя, поклонялись ему, видели в нем отца, но на устах у них даже в праздники, не было улыбки.

И. А.: — Это зависит от свойств русского человека. Никто так тяжело не переносит праздник, как русский человек. Я много писал об этом. И все остальное происходит отсюда. В русском человеке все еще живет Азия, китайщина... Посмотрите на купца, когда он идет в праздник. Щеки ему еще подпирает невидимый охабень. Он еще в негнущихся ризах. И царь над этим народом под стать ему, и, в конечном счете, великомученик. Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой, радостной религии... ложь, ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги... А стояние по восемь часов, а ночные службы! Нет, не говорите мне о «светлой» милосердной нашей религии... Да мы и теперь недалеко от этого ушли. Тот же Карташев, будь он иереем — жесток был бы! Был бы пастырем, но суровым, грозным... А Бердяев? Так бы лют был! — Нет, уж какая тут милосердность. Самая лютая Азия...

14 сентября 1930.

В кабинете после обеда И. А. рассказывает, как был в молодости в Яновщине, в доме Яновского, родственника Гоголя.

— Помню плотину, гусей, даже эту знаменитую лужу. В доме же помню почему-то только одну приживалку, которая утром угощала меня в столовой кофе и все при этом откашливала и никак не могла откашлять до конца мокроту. На плече у нее была вязаная гарусная косынка, на голове наколка, и все лицо какими-то нарумяненными кусками. Была она очень со мной любезна и даже как-то кокетлива, все придвигала какие-то рассыпчатые крендельки, булочки, печенья, и все приговаривала:

— Кушайте, кушайте, молодому человеку надо есть...

Оттуда я пошел на Шишаки и Сорочинцы к знакомому Яковенко. Это был мужчина с длинной бородой, голым черепом и вполне сумасшедший. Помню, он все говорил, что интересно будет познакомиться с докторшей. Потом мы с этой докторшей сидели на обрыве, под которым неслась очень быстрая речка, и слушали пенье, в унисон, на селе, необыкновенно прекрасное, и она говорила, что хочет «невозможного»... Ну я очень скоро смылся, потому что ясно было что это за «невозможное», а с такими, если свяжешься — потом нет никакой возможности развязаться...

Посмеялись, пошутили на эту тему. Потом З* спросил, был ли И. А. на севере. И. А. сказал, что был в Вологде.

— Когда?

— Да году в шестнадцатом. У Сашеньки.

— Кто это — Сашенька?

— А это его подружка по Орлу, — смеясь ответила за него В. Н.

* Л. Ф. Зуров.

— Какая это подружка?

— А это, когда я еще был в Орле, пришла в редакцию барышня, такая, с очень нежным цветом лица, мгновенно вспыхивающая, в длинной черной юбке и сапогах с ушками. Принесла рукопись «История кусочка хлеба». Редактор дал мне прочесть. Оказалось так талантливо, что мы ухватились за нее двумя руками. Вызвали ее, она пришла, да и говорит:

— Мне с отцом очень тяжело жить...

А отец у нее был старый профессор с больной ногой, вполне бешеный и на всех замахивающийся палкой и пускавший ею в кого попало. Ну, редактор пригласил ее жить при редакции. Она переехала, и он тут-же, очень быстро, невзирая на наличие молоденькой, с ямочками на щеках жены, лишил ее невинности...

— Ну, а потом?

— Ну, а потом мы долго не видались. Она была идейная революционерка. Когда я приехал к ней в Вологду, она жила с каким-то рабочим, большевиком. (Тогда еще это понятие не имело теперешнего значения). Я пришел к ней в дом, поднялся по какой-то грязной лестнице, где очень пахло нечистотами. Постучал, она вышла, все в такой же длинной черной юбке, с седыми обрубленными волосами, выкатила на меня глаза, как два облупленных яйца.

— Сашенька! Что ж ты здесь живешь?

Она сразу узнала меня, стала говорить:

— Да, я теперь живу с рабочим... Он чудная душа, необыкновенная, только, конечно, все-таки мне тяжело...

— Сашенька, да как же тебе не стыдно! Ты ведь хорошая была барышня!

— Да, да что ж делать... Знаешь, Иван, только лучше нам куда-нибудь уйти, я здесь на положении не вполне легальном... Хозяйка может подслушать...

Мы вышли. А тогда была весна, ярка и густа зелень. Пешеходы были деревянные и такая грязь, какой я

нигде не припомню. По этой грязи нырял извозчик, я кликнул его, мы сели.

— Куда везти?

Я сказал ему везти за город, он повез, мы поехали к монастырю. А монастырь этот вырос прямо из черной равнины, и была такая прелесть в его стенах, эта белизна, толщина, грубость... потом этот голый деревенский погост... словом, у меня осталось от этого такое прелестное впечатление, что вечером я сказал себе: «Нет, шабаш, надо уезжать!» и уехал, хоть она и просила остаться...

Рассказывал он это так, точно уже готовый рассказ читал.

23 февраля 1931.

И. А. читал мне вслух «Косцов» и «Аглаю». Последнюю часть особенно хорошо и когда кончил, у меня лицо было мокрое от слез.

На мой вопрос, он сказал, что много прочел прежде чем написать ее.

— Вот видят во мне только того, кто написал «Деревню»! — говорил, жалуясь, он: — А ведь и это я! И это во мне есть! Ведь я сам русский и во мне есть и то и это: А как это написано! Сколько тут самых разнообразных, редко употребляемых слов и как соблюден пейзаж хотя бы северной (и иконописной) Руси: эти сосны, песок, ее желтый платок, длинность — я несколько раз упоминаю ее — сложения Аглаи, эта длиннорукость... Ее сестра — обычная, а сама она уже вот какая, синеглазая, белоликая, тихая, длиннорукая, — это уже вырождение. А перечисление русских святых! А этот, что бабам повстречался, — как выдуман! В котелке и с завязанными глазами. Ведь бес! Слишком много видел! «Утешил, что истлеют у нее только уста!» — ведь какое жестокое утешение, страшное! И вот никто этого не понял! Оттого что «Деревня» роман, все завопили! А в Аглае прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда все, что душа нес-

ла, выполняла — никем не понято, не оценено по настоящему! И ведь сколько тут разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных! Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и «Песня о Гоце». Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад.

И он прочел, опять изумительно, «Песню о Гоце».

5 июня 1931.

Вечером вчера ходили гулять по Ниццкой дороге. В. Н. сказала, что Катерина Михайловна (Лопатина) днем рассказывала ей о том, как И. А. когда-то был в нее влюблен и каким он был. И. А. рассказал:

— Мне тогда шел двадцать шестой год, но конечно в сущности мне было двадцать. Однако Кат. Мих. вовсе не была «взрослей» меня, хотя ей было 32-33 года и выросла она в городе. Она была худая, болезненная, истерическая девушка, некрасивая, с типическим для истерички звуком проглатывания — м-гу! — звуком, которого я не мог слышать. Правда в ней было что-то чрезвычайно милое, кроме того она занималась литературой и любила ее страстно. Чрезвычайно глупо думать, что она могла быть развитей меня оттого, что у них в доме бывал Вл. Соловьев. В сущности знала она очень мало, «умные» разговоры еле долетали до ее ушей, а занята она была исключительно собой. Следовало бы как-нибудь серьезно на досуге подумать о том, как это могло случиться, что я мог влюбиться в нее. Обычно при влюбленности, даже при маленькой, чтонибудь нравится: приятен бывает локоть, нога. У меня же не было ни малейшего чувства к ней, как к женщине. Мне нравился переулок, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то что влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился дом... Кто я был тогда? У меня ничего не было кроме нескольких рассказов и стихов. Конечно я должен был казаться ей маль-

чиком, но на самом деле вовсе им не был, хотя в некоторых отношениях был легкомыслен до того и были во мне черты такие, что не будь, я именно тем, что есть, то эти черты могли бы считаться идиотическими. С таким легкомыслием я и сказал ей однажды, когда она плакалась мне на свою любовь к Т.: «Выходите за меня замуж...» Она расхохоталась: «Да как же это выходить замуж... Да ведь это можно только тогда если за человека голову на плаху можно положить...» Эту фразу очень отчетливо помню. А роман ее с Т. был очень странный и болезненный. Он был похож на Достоевского, только красивей.

В. Н.: Все-таки она не думала, что И. А. больше в нее влюблен. Она была очень задета его женитьбой через два месяца после предложения ей. Ведь это было в июне, а в сентябре он женился.

И. А.: Да, и тоже был поступок идиотский. Поехал в Одессу и ни с того ни с сего женился. А о Катерине Михайловне думал потом с ужасом: Что бы я с ней делал? Куда бы ее взял?

Он еще рассказал между прочим, что когда Кат. Мих. смеялась над ним, он как-то сказал ей: Вот увидите — я буду известен не только на всю Россию, но и на всю Европу!

12 июня.

Вот уже около недели Илюша (Фондаминский) ходит к нам обедать и всякий раз бывают значительные разговоры за обедом, а больше во время вечерней прогулки, которую он теперь делает с нами. Большею частью разговоры бывают исторически-политические. Вчера ходили на новый бульвар на другую сторону Грасса. Ночь была душная с низко спустившимися тучами, почти закрывшими голые верхушки скал плато Наполеона. Деревья и кусты дико рисовались в тумане, искры светляков вспыхивали ежесекундно то там, то здесь — их бы-

ло так много, что их немой танец производил почти мистическое впечатление. Чем дальше мы шли — тем все казалось глуше и диче. Несмотря на то, что разговор который вели Илюша и И. А. был мне очень интересен, я временами прерывала их, желая обратить их внимание на таинственные темные горы, кое-где светящиеся расплывчатыми огоньками редких домов. Говорили о Витте и о Столыпине. Илюша рассказывал о возникшей у него с П. Струве переписке по поводу брошюры Струве «Витте и Столыпин». По мнению Илюши, Столыпин, невзирая на все свои качества, был слабее Витте, который умел проводить в жизнь то, чего хотел, а это, говорит он, в политическом деятеле самое важное. «Политический деятель должен быть прежде всего практиком!» говорил Илюша. «Какой бы замечательный план не сделал архитектор, он ничего не стоит, если дом, построенный им, рушится».

16 апреля 1931-го года.

Вчера после обеда Ф. А. (Степун) и И. А. заспорили.

— Вы вот пишете всякие «Мысли о России», — говорил И. А., — а между тем совсем не знаете настоящей России, а все только ее «инсценировки» всяких Блоков, Белых и т. д., а это не годится.

Ф. А. начал говорить о том, что он приемлет и И. А. с его диапазоном, но ему нужен и Блок, и его Россия, и его «хлыстовство» (разумея под этим всякое опьянение) и «плат узорный до бровей».

— Для меня, если я нахожу в Бунине нечто от А до Л, Блок дает мне от Л до Э. Для меня соединение этих двух разных ключей, как в музыке, есть обогащение. Если я приму одного Бунина — я обедняю себя... Кроме того, Блок скажет мне что-то такое, чего не достает мне в Вас. У Вас, например, нет безумия, невнятицы. Вы о безумии, о невнятице говорите внятно, разумно...

— Как! Как! А Иоанн Рыдалец, а Шаша, раздирающий собственную печенку, а Аверкий, умирающий в пустоте!..

— Вы об этих ваших персонажах говорите разумно. Для меня Вы и Блок, как Моцарт и Бетховен. От каждого я получаю что-то иное... И то, что Вы не терпите рядом с собой другого, может быть есть именно только доказательство вашей творческой мощи. Мы нашу справедливость искупаем известным творческим бессилием. А Вы по звездам стреляете — так что же вам быть справедливым!

Потом И. А. доказывал, что Россия Блока с ее «кобылицами, лебедями, платами узорными» есть, в конечном счете, литература и пошлость.

— Не надо забывать сколько тут идет от живописи, от всяких «Миров Искусства», от того, что писали картины, где земли было вот столько (он показал на три четверти), а неба — одна щель и на нем какая-то лошадь и овин. А России настоящей они не знали, не видели, не чувствовали!

— А я думаю, что если Вы — русский человек, то Вы один из плюсов русской жизни, — стоял на своем Степун.

— Это была кучка интеллигентов, — не слушая, говорил И. А. — Россия же жила помимо нее.

Потом Ф. А. читал — очень выразительно, — Блока.

— Теперь я понимаю тайну их успеха, — сказал И. А. — Это эстрадные стихи. Я говорю не в бранном смысле, понимаете. Он достиг в этом большого искусства... — И вообще, если я чувствую в произведении ауру художника это меня уже болезненно ранит. Для того чтобы произведение было вполне хорошим произведением, я должен чувствовать в нем только его ауру — ауру произведения.

Об отце*

Иных уж нет, а те далече...

Мои родители встретились в России, в частной опере Саввы Ив. Мамонтова, куда был приглашен весь состав итальянского балета с моей матерью, Иоле Торнаги, в качестве примы-балерины. Мне об этой встрече много рассказывали сами отец и мать. Отец тогда не говорил по итальянски; мать, конечно, ни слова по русски.

Я не буду описывать слишком подробно эту встречу и роман моих родителей, ибо это само по себе могло составить целую книгу. Я только ведь хочу писать о своих воспоминаниях; но два эпизода мне все же хотелось бы поведать (со слов моих родителей и некоторых свидетелей бывших, так или иначе причастных к труппе С. И. Мамонтова: семья Мамонтовых, певец Секар-Рожанский, певица В. И. Страхова, художники К. Коровин, В. Серов, С. В. Рахманинов и др.).

Однажды, после спектакля, где участвовал и балет, отец старался уговорить мать не идти домой. Да как же сказать по-итальянски:

«Жалко идти спать в такую красивую, лунную ночь».

И вот, как он сказал: «Маргарита... Фауст...», «*Si capisco: Margherita Faust*»,¹ «Маргарита»... и тут отец мо-

* Отрывки из книги, готовящейся к выходу в скором времени.

¹ Да, понимаю.

литвенно сложил руки и возвел очи к небесам.

«Margherita prega!»² поняла мать.

«Si, si! Prega!»³ обрадовался отец. «Perche prega?»⁴

«Perche ha peccato».⁵

«Peccato!!!» радостно воскликнул отец (по итальянски слово peccato имеет двойное значение: грех и жалко), и торжественно заявил:

«Peccato dormire bella notte».⁶

Разве можно было отказать этому милому «basso» (так его называли итальянцы), который приложил столько усилий, чтобы кое-как составить эту итальянскую фразу?

Вы спросите, откуда же он взял слова dormire, bella notte? Из итальянских опер и также, прислушиваясь к разговору итальянцев; он как-то быстро схватывал отдельные слова. Впоследствии, отец ведь очень прилично говорил по-итальянски, никогда специально не учась этому языку. То же самое и по-французски; немного говорил по-английски. Не давался ему немецкий язык, никак! Когда он «изображал» немецкий язык, он неизменно говорил одним духом:

«Spazierstock, Zurück, Zimmer zu vermieten, jawohl!» и еще:

«Bitte, bitte, bitte noch einmahl, Küsse, Küsse, Küsse ohne Zahl!»

Причем этот стишок он произносил с наипрекраснейшим немецким акцентом, как-то особенно вежливо и ослабившись.

² Маргарита молится.

³ Да, да молится.

⁴ Почему молится?

⁵ Потому что она согрешила.

⁶ Жалко спать, красивая ночь!

А вот второй эпизод: шла генеральная репетиция Евгения Онегина. Отец пел Гремина. Мать танцевала мазурку в сцене бала.

На генеральной репетиции дирекция разрешала артистам, которые не были заняты в той или иной сцене, сидеть в публике в костюмах и гриме.

Матери моей несказанно нравилась эта опера. Она села рядом с С. И. Мамонтовым, прося его всё ей объяснять и переводить. С. И. прекрасно говорил и по итальянски и по французски. Сцена доходит до момента, когда Гремин поет: «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну». И вдруг мама ясно слышит из уст отца: «Торнаги». Она решила, что вероятно, какое-то русское слово похоже на ее фамилию. Однако, велико было ее смущение, когда в театре пронесся гул голосов, и все лица повернулись к ней, а С. И., наклонившись, прошептал:

«Je vous felicite, Mademoiselle».

Что случилось? что случилось? — спрашивала растерянная и смущенная мать.

А случилось вот что: вместо того, чтобы спеть полагающуюся фразу, Шаляпин спел ясно, отчетливо:

«Онегин, клянусь тебе на шпаге
Безумно я люблю Торнаги».

Бедная мама (счастливая мама — это я так думаю) готова была провалиться сквозь землю.

А вскоре они обвенчались, и мама навсегда осталась в России. Выйдя замуж, она свою карьеру в полном расцвете — бросила. Как жаль! А тут стала расти семья: трое сыновей, трое дочерей. Самый старший, Игорь, (я его помню только по рассказам) умер, когда ему было 5 лет. Затем родилась дочь Ирина, через полтора года дочь Лидия (я), через три года — сын Борис, и еще через год — близнецы Федор и Татьяна.

**
*

Моей русской бабушки я не знала. Она умерла, когда папа был еще юнцом, но он часто о ней говорил, вспоминал ее всегда с большой нежностью и грустью.

Мне всегда казалось, что где то, в глубине его сердца, осталась у него тоска по ней, бесконечная жалость и сожаление, что в свое время, из за молодости своей, не мог он понять этой русской женщины, принимавшей удары судьбы безропотно...

Она была простая русская крестьянка, — говорил он, — несшая свой крест без громких слов, без стонов и без жалоб. — Крест был тяжелый. Муж ее запивал надолго. Денег на существование не было и она, несшая весь труд домашней работы и заботы о детях, принимавшая и побои мужа — ходила на поденную работу, самую тяжелую, чтобы заработать несколько грошей на пропитание семейства.

В своих воспоминаниях: «Страницы моей жизни», отец сам пишет о ней, поэтому прибавить ничего не могу.

Но бывало, отец (уже в Париже) сидит и что-то напевая, мучительно старается припомнить:

— Как же это было? — сосредоточенно смотрит на меня, и я знаю, что он меня не видит.

— Ты про что? — спрашиваю я.

— Да вот мать певала эту песню! Не могу вспомнить!.. Вот только какие то отрывки... — Он закрывает глаза... напевает:

— ...стоит там белый дом и лестница большая... лестница большая... — дальше поет мотив один без слов.

— ...и ...что-то в доме том. А вот что же, не могу вспомнить...

И уже мечтательно продолжает напевать:

— ...и ле-е-ст-ница больша-а-а-я... — задумывается.

— Н-да! — Должно быть в воображении своем видела она и дом этот и лестницу и, вообще, другую жизнь.

— А бедняга, кроме горя так ничего в жизни не увидела... Ласковая была и добрая... Голоса никогда не повышала. Нас все жалела... себя она не жалела.

В другой раз он говорил:

— А знаешь, хорошо она пела. Просто, не мудрствуя. И голос у нее был полный, красивый, низкий. Пела с большим чувством. Слух был точный... Репертуар был не ахти какой. Но ведь дело не в этом... Мы с ней в два голоса пели: я — дискантом вел первый голос, а она вторила. Ведь как вторила!

**
*

Деда своего я тоже не знала. Он умер, не то незадолго, то вскоре, после моего появления на свет. Но на его портрет, стоявший в кабинете отца на письменном столе, я подолгу и пристально смотрела. Он снят в широко распахнутой шубе, в меховой шапке, с лицом строгим, я бы сказала суровым, но красивым. Белая борода, белые вихры из под шапки. Одна бровь поднята высоко, другая низко свисает над глазом.

Знаю по рассказам, что дед был высокий и худой. Мама его хорошо знала и помнила. Он одно время, очень недолго правда, жил у нас.

Насколько он был неприятным, когда был выпивши, настолько тих и благообразен в трезвом виде. К маме он относился хорошо, но с какой то вежливой опаской... иностранка. В начале, отнесшись к папиному актерству недоброжелательно, он затем смирился, и однажды, сидя с мамой в партере театра, приоткрыл рот от удивления, оглядывая аплодирующую публику, кричавшую: Шаляяпин! Очень это ему чудно казалось, и не выдержав, он склонился к соседу и сказал: «Это мою фамилию выкрикивают»...



В Alassio у Адриатического моря

У мамы было много волнений с ее беспокойным семейством, во главе с отцом. Там же в Алассио, не успела она притти в себя от одного шока, как ее уже подстерегал другой. Однажды, отец заявил, что он желает идти гулять со всей пятеркой один, без нее и без гувернанток. Мы были в восторге! Это был совсем из ряда вон выходящий случай — одни с папой. Отправились. Пошли по какой то улочке приморского городка. Отец накупил нам разных игрушек, сладостей вволю (чего никогда не бывало с мамой и гувернантками).

Затем остановился у каких то дверей, втолкнул нас всех туда. Оказалась парикмахерская. Рассадил всех по креслам, уселся сам и велел всем и самому себе... начисто остричь волосы под *нулевой номер*. Парикмахер опешил.

— Anche la ragazze, signore? — (девочек тоже, сударь?).

— Да, да, девочек тоже! — ответил отец.

Через полчаса все шествовали домой. Впереди отец и мы гуськом за ним. Нам эта затея очень понравилась. Головам было легко и приятно; что касается красоты — об этом мы и не думали. А вид, конечно, был странный, лица загорелые, а обритые скальпы совершенно белые. Бедная мама! Завидев с террасы нашей виллы приближающуюся процессию из шести белых шаров, чуть не упала в обморок.

— Ну, карашо! Если хочешь мальчики, но почему девочки? — Мама говорила по русски с итальянским акцентом всегда. Говорила бойко, понимала все и, впоследствии, дойдя до известного — своего совершенства на этом остановилась... Акцент остался навсегда и до сих пор. Буквы X и Ы так ей и не дались, ударения неверные и склонения не совсем в порядке. Но акцент и ошиб-

ки ее очень милы. А в раннем детстве моем, мне казалось, что все мамы должны говорить по русски обязательно с акцентом и, когда я слышала русских мам, говорящих по русски хорошо, мне это казалось несколько необычным.

Но отец от своей затеи был в восторге.

**
*

Рождество... ёкало сердце. А тут еще двойное счастье: ждали папу, который возвращался из турнэ по Южной Америке.

Несмотря на то, что было известно в котором часу он приезжает, мы с утра стояли на стульях, на коленях, прилипши носами к холодным окнам, за двойными рамами которых, ничего не было слышно. Скользили извоищи-чьи сани, ходили люди... Все как в немом кинематографе. В этот день сияло солнце на белом небе и ослепляло глаза, снег.

И, как всегда бывает, как раз в тот момент, когда мы, уже оторвавшись от окон, слонялись из комнаты в комнату, раздался у парадных дверей звонок — дзиль, дзиль, дзиль, дзиль. Папин звонок: всегда коротко, несколько раз подряд. Мы ринулись в переднюю, сбивая с ног прислугу, Агашу, маму.

Отец не входил, а как то «появлялся» в дверях. Шубу, шляпу, мы хватались за него, висли на нем, визжали. Отец подхватывал то одного, то другого, смеялся, рычал, шутил.

Опять дом наполнился радостным шумом. Самовар уже шипел на столе, уже суетилась прислуга, что-то еще неся на стол, Агаша умильно почесывала висок. Отец обнимал ее, а она целовала его в «плечико», но чмокала в живот, ибо до плеча ей добраться было невозможно. Леля, здороваясь с отцом, делалась красная как кумач, от смущения что ли; мадмуазель церемонно кланялась. За

всей этой суматохой, мы не сразу заметили одного господина, почтительно целовавшего мамину руку.

— Вот, Исай! Это Бориска, вот Мочалка! А вот Арина, Федька, Лидка... — и, обращаясь к нам: — А это мой друг, Исай Григорьевич Дворищин.*

Мы только было собрались с ним вежливо поздороваться, приготовившись сделать книксен, а мальчики — шаркнуть ножкой, как вдруг Исай Григорьевич высоким тенором завопил:

— *Смирррна!*

На секундочку мы опешили.

— *Стать в ряд!* — скомандовал он, — *руки по швам!*

Мы немедленно стали в ряд по приказу.

Лицо у Исая Григорьевича было пресерьезное.

— Что пузо выпятил! — ткнул он в Борю. — Нечего головой вертеть! — набросился он на меня. — Направо! Шагом! Марш! За мной!

И пошел впереди, а мы за ним, по всему дому.

— Раз, два; раз, два! Правой, правой, раз, два! Кто это там поднимает две ноги сразу?

Хохот и взрослых и малышей. Исай понравился нам сразу. Мы уже от него не отлипали, а он нас смешил, и за столом выделывал всякие фокусы-покусы. Вдруг вскочил, как ужаленный, бросился к окнам и схватился за голову:

— Федор Иванович! приехали. Уйя халера!

Лицо его, необыкновенно подвижное, сразу скисло.

— Приехали... ну, Йола Игнатьевна, поздравляю! Это что нибудь о-со-бенное!..

Все бросились к окну, кроме отца, спокойно восседавшего за своим стаканом чая. К подъезду подкатила подвода, на которой, рядом с ломовым, сидел папин камердинер, Василий. На подводе, кроме багажа, было нагружено нечто довольно высокое, покрытое брезентом.

* Секретарь Ф. И. Шаляпина.

— Дети, я вам привез всяких заморских зверушек; вот сейчас, мы все это разглядим.

Мы толкались у окон в крайнем возбуждении. С подводы стащили брезент и стали выгружать невероятное количество... клеток с птицами. Начали их вносить в квартиру. Не помню, сколько было клеток! Наверное — штук пятнадцать. Мама замерла, как к земле приросла! Агаша только руками всплеснула; Леля старалась утихомирить наш восторг. Мадмуазель любезно улыбалась, но, наверно, про себя думала: «русские дикари!».

Прислуга втаскивала деловито клетку за клеткой. А там, в клетках-то, птички: и синие, и красные, и зеленые, и желтые; и побольше, и поменьше, и — всякие!

Но восторг наш достиг апогея, когда в одной из самых больших клеток оказались две мартышки. Начали расчищать место для клеток. Мы их друг у друга вырывали. Один, непременно, хотел поставить здесь, другой — там. Нахохлившиеся птицы сидели перепуганные; мартышки забились под наложенную в клетку вату. Мы обязательно хотели, чтобы они оттуда вылезли.

Папа принимал самое деятельное участие в размещении клеток, радовался и волновался не меньше нас, детей. Кажется, только он один и радовался с нами...

Мама была в панике! Сколько работы прислуге, все эти клетки чистить! Агаша жалела птиц, гувернантки сдержанно молчали, не выражая ровно ничего.

Прислуга тащила столики, табуретки, которые расставлялись в столовой, в гостиной. Василий суетился по своим делам, не обращая ни малейшего внимания ни на что, кроме багажа отца, и который, он уже начал распаковывать.

Василий был человек маленького роста, с животиком, с большой круглой и лысой головой; посреди лба — бородавка, как у будды. Ходил деловито, быстро, загребая слегка правой ногой. Держал себя независимо и с достоинством. Как же! Всюду путешествовал, видел Ев-

ропу и Америку. Словом, европеец! не азиат какой-нибудь!

Ни птицы, ни мартышки, ни наше возбуждение на него никакого впечатления не производило: «Эка невидаль! Навезли то этого всего зря, а впрочем — блажь! Пусть потешаются, ежели уже так...» А потешались мы несомненно. Птицы, придя в себя, расправили перья, и пошло веселое чириканье по всему дому! Мартышек вытащили, но они немедленно, к нашему огорчению, забрались на самую верхушку портьер и сверху поглядывали на нас с опаской и недоумением, и достать их было невымыслимо.

А потом, когда стали проходить дни за днями, началась настоящая трагедия. Бедные заморские певуны не могли выдержать суровой зимы, и каждое утро, то в одной, то в другой клетке, находили птичку, лежащую брюшком вверх с заоченелыми лапками. По утрам детский рев в течение многих дней не прекращался. Мама хваталась за голову; отец был смущен и растерян и... тоже огорчался. А потом рассердился! От огорчения!

— Просто ухаживать за ними не умеете! — и еще, — наверное продали уже полудохлых птиц.

И так, пока все птички не померли...

Мартышки постепенно к нам привыкли. Мы их кормили, и они брали у нас еду из рук. Кормили фруктами, орехами.

Постепенно они перестали лазить наверх, на портьеры — им было холодно. Они залезали в папины подушки и там (миленькие такие), прижавшись друг к другу, сидели без вылазу. Мы старались напяливать на них кулины теплые платица, но они протестовали и сдирали их с себя с раздражением, как будто хотели сказать:

— Издевательство над обезьяньей породой.

Мы их оставили в покое, в этом смысле, но каждую свободную минутку, мы — к мартышкам. Нас больше ничего не интересовало. Нам даже пригрозили, что мар-

тышек отдадут, если мы будем плохо учиться и не исполнять наших детских обязанностей.

Но, увы... Мартышки стали хиреть и делались все более и более грустными. Почти не дотрагивались до еды. Опять слезы и отчаяние. Позвали ветеринара.

И, о ужас, о горе! У мартышек объявилась *чахотка*, и ветеринар посоветовал убрать их, т. к. это грозило *заразой*.

На следующее утро, мы мартышек в папиных подушках не нашли. Мы бегали по всему дому, искали их, звали... Мартышки исчезли. Это уже было настоящее горе... такое, что даже взрослые не сердились на нас, а утешали, говоря, что туда, куда их взяли, им будет лучше. Все поняли. Даже маленькая Таня серьезно посмотрела на маму и тихим, упавшим голоском спросила: «У Боженьки?» Мама секундочку помолчала. «Да, у Боженьки». Даже Агаша смахнула слезу и не протестовала, что мартышки в раю. В то утро (было это воскресенье, должно быть, потому что мы были дома), отец позвал нас к себе в комнату — всех. Он лежал в кровати, курил, испытующе на нас поглядывая.

— Ну, рвань коричневая (он любил нас так величать), влезайте все ко мне на кровать, я вам сказку расскажу.

В одну секунду, все пятеро расселись на кровати, забравшись туда ногами и устраиваясь поудобнее. Каждый хотел «поближе» к папе, к его голове. Происходила некоторая борьба с кряхтением; каждый старался вытеснить другого, забрать лучшее место.

— Эй! без ссор! А то всем по шее дам! —

Немедленно все присмирели.

— Расскажу вам сказку про медведя. Страшную! держитесь! — У всех сразу, заранее, сделались испуганные рожи. Поежившись и выпучив глаза, замерли в ожидании.

Сказка была о том, как медведь лазил за медом на дерево, как бревно, подвешенное к ветке, больно его уда-

ряло, когда он его отталкивал и, как медведь, упав с дерева, попал лапой в капкан; как вырвался он из капкана, оставив в нем свою лапу и, как на трех лапах, обливаясь кровью, убежал в лес.

Рассказывал это отец с такой мимикой и интонацией, изображая медведя и его рев, что все это, нам казалось, мы видели воочию.

Забыты были и мартышки и все на свете.

— И вот старуха и говорит старику: «Возьму-ка я эту лапу, шкуру сдеру, шерсть напряду, а из лапы сварю похлебку».

И тут шло описание, как глубокой ночью, когда уже все кругом спали, сидит старуха при лучине за прялкой... И вдруг слышит...

Тут уже мы боялись шелохнуться. Отец делал сам испуганное лицо старухи, прислушивающейся к странному звуку, идущему из далека, из лесу:

— Скррл, скррл, скррл..., — и совсем замогильным голосом, придушенным, зловещим:

— На липовой ноге
На березовой клюке
Я по селам шел
По деревням шел
Уж и все-то в селах спят
И в деревнях тоже спят.

Шло наростание громче, громче...

— Одна бабушка не спит
На моей ноге сидит
Мою шерстку прядет

(и с завыванием, леденящим душу):

Мою косточку грызет
скрррл, скрррл, скрррл, скрррл, скрррл...

И это «скрррл», скрип костылей, все приближался, вот, вот, уже у самых дверей, за которыми сидит испуганная, оцепеневшая старуха.

Что же теперь будет? Слушая отца, впившись в него глазами, мы бессознательно повторяли каждое движение его лица.

— Старуха быстро открыла половицу, ведущую в подвал, лучину погасила и сама влезла на полати. Мишка навалился на дверь и...

Мы уже не дышали!

— ...и пошел прямо к старухе. А дыру то в темноте не заметил и... Туда и провалился!

И все вздохнули свободнее.

— И что потом?

— Ну, потом все прибежали, кто с вилами, кто с топорами...

— Его убили??!!

Отец улыбнулся. Он понимал, что сказку надо закончить с счастливым концом не только для старухи, но и для медведя.

— Нет. Его поймали и пожалели. Сначала в клетку посадили, потому что он был очень сердитый и очень обиженный.

— А потом?

— Потом его медом кормили. Потом они со старухой помирились, и стал медведь совсем ручной и жил у старика со старухой припеваючи.

**
*

Отец был человек эмоциональный, и настроение у него могло меняться ежечасно.

Нужно отдать справедливость Исаю, что, когда он бывал подле отца — у последнего настроение было и лучше, и ровнее, и спокойнее. Исай умел оградить отца от ненужных передраг, сплетен, огорчений. Умел и повли-

ять на него в хорошую сторону, если считал, что так, дескать, Шляпину поступать не подобает. Делал он это настолько незаметно, что никакого раздражения не вызывал. Бывали, конечно, и такие положения, что приходилось действовать энергично, немедленно и открыто. Например, в Большом Императорском театре сделали для Бориса Годунова новую шапку Мономаха, по заказу Шляпина. Спектакль. Отец уже загримировался, надел парик, приклеил бороду. Оставалось облачиться в пышные одеяния царя и надеть шапку Мономаха.

Доносился гул переполненного зала и звуки оркестра, настраивающего инструменты. До начала оставалось минут пять.

Отец взял шапку Мономаха и... обомлел. Вокруг нее, вместо полагающихся иконок святых, красовались портреты Гоголя, Пушкина, Лермонтова и т. д. Полагаю, что какой-то досужий мастер решил, что издали это будет незаметно. Не думаю, что это было сделано с умыслом.

— Ис-а-ай!

В дверях немедленно появился Исай. Он почувствовал сразу в голосе отца, и как тот его позвал, что-то неладное.

— Что же это! — над искусством издеваются, над Пушкиным, над всеми! — и тут пошли непечатные слова.

Шапка полетела неизвестно куда.

— Позвать мне сюда костюмера!

— Сюю минутоу.

Исай выбежал и велел немедленно передать костюмеру или кому там следует за это отвечать, — на глаза Федору Ивановичу не показываться.

Тем временем отец уже снимал парик, сдирал бороду...

— Скажи им, что я петь не буду!

Театр был переполнен. Спектакль должен был начинаться. В мгновение ока, за кулисами полетел слух: «очередной Шляпинский скандал». *Доброжелатели по-*

тирала руки: «Шляпин пьян». Никакие доводы и уговоры Исаия не помогли и, когда уже надежды, казалось, не было никакой, Исая лег на пол, на самый порог двери и закрыл глаза:

— Федор Иванович! Вы уйдете только через мой труп!

Картина получилась настолько неожиданная, а ситуация столь комичная, что отец, как-то даже, не сразу понял, что случилось с Исаем.

Какое-то мгновение паузы, которая Исаю (как он потом рассказывал) показалась вечностью. И вдруг... отец расхохотался... Спектакль начался на 15 минут позже.

Занавес взвился: хор, процессия духовенства, бояр, и появляется царь Борис... в старой шапке Мономаха; «Скорби душа»...

**
*

Крым... Жаркие, сияющие дни... Семья наша проводила это лето на курорте Суук-Су — жемчужина черноморского побережья, так называли этот поистине райский уголок. Мы снимали прелестную виллу, которая стояла высоко над морем, откуда открывался вид на весь залив, где в море солнце отражалось миллионами ослепительных звезд; в море возвышались два скалистых островка — Адалары. Слева — гора Аю-Даг. В середине самого пляжа мысом выступала знаменитая Пушкинская скала-полуостровок, о которой и будет речь в моем рассказе. Пушкин на этой скале, собственно, никогда не бывал, а название она свое получила из-за волн, яростно разбивавшихся об неё и производивших звук пушечного выстрела. С утра, в купальных халатах все, веселой гурьбой сбегали вниз, на пляж. Отец впереди всех. Он уже на ходу сбрасывал халат и с разбега бросался в воду. Пловцом он был замечательным; плавал «сажонкой», и впечатление было такое, что плывёт он не в воде, а над водой; уплывал далеко, неведомо куда и надолго.

Когда же нам становилось за него тревожно, он вдруг появлялся у самого берега, как то выросал из волн морских, во весь свой могучий рост, искрящийся, радостный, как некий солнечный бог. А затем любил взбираться на Пушкинскую скалу и там полежать на солнышке и предаваться мечтам...

Вот там то и запала ему эта мечта. Запала глубоко в душу и сердце.

А мечта превратилась в твёрдое решение эту скалу приобрести, построить на ней «дворец», куда со всех концов России будут съезжаться талантливая молодежь, художники, писатели, музыканты, актеры, певцы... Чтобы проводили там лето не заботясь о хлебе насущном, о завтрашнем дне, чтобы могли там работать и творить в спокойствии. А посередине «дворца» чтобы была башня, на макушке которой, будет жить сам.

Но как это осуществить? Захочет ли Ольга Михайловна Соловьева, владелица всего курорта, продать ему эту скалу? Свою мысль он поведал нашей матери. Мама отнеслась к этому скептически, но и не отговаривала отца.

«Она поймет меня, говорил он, я уверен, я её уговорю!

Ольга Михайловна так же, как и отец принадлежала к крестьянскому сословию. В молодости, пришла работать к барину в этот самый курорт. Красива она была необычайно. Барин влюбился в неё без памяти, женился на ней, а умерев оставил ей громадное состояние.

Ольга Михайловна вела курорт твердой рукой и светлым разумом. А ведь не легко это было: несколько гостиниц, большое казино, громадный парк, неисчислимый штат служащих и т. д. Везде она попевала, всюду был её хозяйский глаз, во всём был порядок и благоустройство. Когда и как она всё успевала — непостижимо.

У О. М. и речь и походка и движения были медлительны, никогда, никакой суетливости и всегда приветливая улыбка, приветливое слово для всех.

И была она еще очень хороша собой — высокая, де-белая, с царственной поступью. Неизменно, в день своих именин, О. М. объявляла *всех* жителей курорта своими гостями. Ели, пили, сколько душе угодно. Шампанское лилось рекой, и никаких счетов. Именинница угощала. Устраивались всевозможные развлечения; вечером запус-кался сказочный фейерверк. Собирались, главным обра-зом, перед казино, на большой площадке, где в середине росло огромное дерево-мимоза и, под сенью которого, расставлялись столы со всевозможными яствами, кото-рые никак за весь день не убавлялись.

Играл на эстраде оркестр.

А сама О. М. в боярском костюме, в кокошнике усы-панном жемчугами выступала павой, расточая свои улыбки и слова приветствий. Ежечасно поднимались бокалы и дружное, громкое «ура» разносилось по всему Суук-Су...

Будучи поистине широкой натурой в жизни, — в де-лах она знала место и цену каждой копейке.

...Вот тут то и нашла коса на камень!

В первый же раз, когда отец заикнулся о продаже ему Пушкинской скалы, О. М. смерила его с ног до го-ловы удивленным взглядом и просто ничего не ответила. Рассердилась!

Но отец не сдавался. При всяком удобном и неудоб-ном случае он заводил разговор о скале, предлагая за неё баснословную цену. О. М. упёрлась. Упёрся и отец: Как её уломать? Стал «подъезжать» к матери нашей: «Вы, мол, бабы, может быть, между собой как-нибудь сговоритесь?»

Но бабы не сговорились. Как только мама заводила об этом речь, лицо Ольги Михайловны, всегда приветли-вое, делалось каменным и... полное молчание. Один раз только она сказала отцу:

«А ты, Федор Иванович, хотел бы, чтобы посередине твоего имения, кто-нибудь выстроил бы дворец, или да-же избу?»



Мы любили из Суук-Су ходить пешком в Гурзуф. Это была чудесная прогулка вдоль берега. Любила с нами ходить и мама, тем более, что в Гурзуфе, у Кургауза на эстраде выступал итальянский оркестр, и матери нашей, итальянке, приятно было послушать своих сородичей, а иной раз и поговорить с ними на родном итальянском языке. А люди они были милые, прелестные и забавные. Однажды мы услышали там приехавшего на гастроли, итальянского певца, баритона, Карло Ферретти. Это был высоченный, лохматый, долговязый парень. Хриплым голосом на ломанном русском языке он объявлял название песни, которую будет петь.

Каково же было наше удивление, когда он запел. Даже на нас, детей, его пение произвело глубокое, чарующее впечатление. Необыкновенной красоты тембр, фразировка, музыкальность и ни с чем несравнимое итальянское *belcanto*.

Мама познакомилась с ним, восхитившись его пением, и спросила поёт ли он в опере, на что последовал отрицательный ответ. «Но почему же?» удивилась мать. Ферретти улыбнулся своей ослепительной улыбкой: «Синьора, мне и так хорошо!» — «Но я хочу, чтобы вас послушал мой муж, придите к нам, когда у вас будет свободное время».

«Ваш муж?»

«Да, мой муж — Шаляпин».

Ферретти, услышав это имя сделался очень серьезным, побагровел, побледнел и прохрипел: «Синьора, я бесконечно польщен. Но я не стою этого! Как посмею я отнять время и внимание великого Шаляпина? Нет синьора... я не приду... не могу...»

Однако мы, во главе с матерью, конечно, уговорили отца пойти с нами в одну из наших прогулок в Гурзуф и непременно послушать этого баритона.

ПОРТРЕТЫ:

Анна Ахматова —

АМЕДЕЯ МОДИЛЬЯНИ
(Париж. 1911 г.)

Исаак Бабель —

В. А. МИЛАШЕВСКОГО
(Москва. 1932 г.)

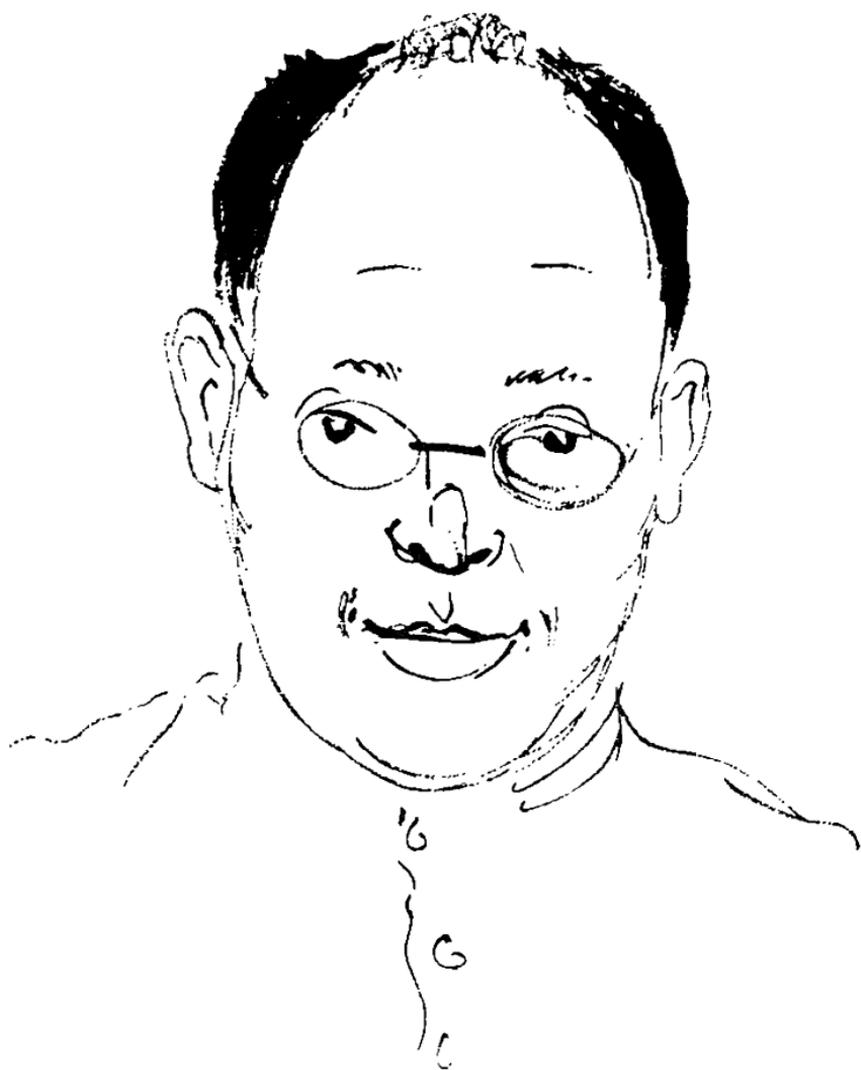
Федор Шляпин —

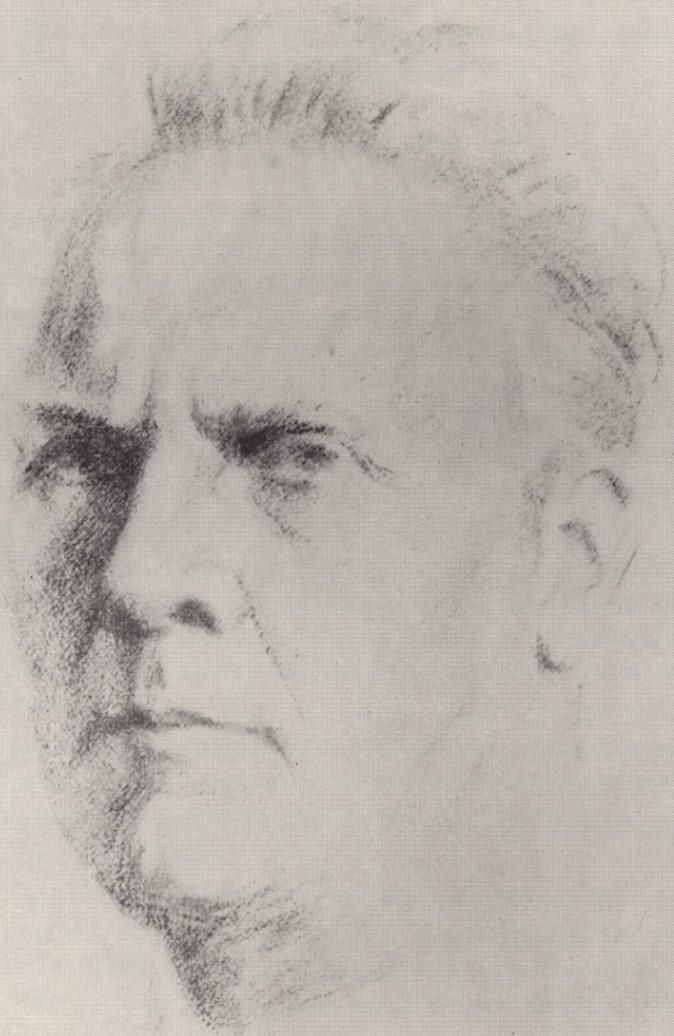
Б. Ф. ШАЛЯПИНА
(Париж. 1932 г.)



1311

Paris





Ross Chambers
1932 Paris

Отец, чтобы доставить нам удовольствие хоть и согласился, но без особого энтузиазма.

**
*

Я помню, как уселись мы за столиком перед эстрадой. День выдался необычайно жаркий. Заказали что-то прохладительное. Отец был в хорошем настроении, балагурил с нами, и когда вышел петь Ферретти, особенного внимания на него не обратил. Но когда услышал фразу — «io sono il prologo» («пролог пред вами», Паяцы — Леонкавалло) отец вдруг резко повернулся к эстраде и не проронил больше ни слова. Слушал внимательно, полуоткрыв рот. Мы знали, что это у отца признак большого изумления и восхищения.

Когда, будь то интересный рассказ, или представление, или что-то чрезвычайно его заинтересовавшее отец всегда слушал, по-детски приоткрыв рот — это была его особенность. (А слушать он умел так же хорошо, как умел и рассказывать).

Когда Ферретти закончил свою арию, отец вскочил и прямо направился к эстраде, не спуская взгляда с певца.

Ферретти стоял, как замороженный так же не спуская глаз с Шаляпина.

Отец остановился у самой эстрады. Какая-то мгновенная пауза, всеобщее молчание... И тут произошло нечто необычайное! Ферретти спрыгнул с эстрады и оба, он и Шаляпин, два великана, очутились друг у друга в объятиях.

И вдруг поднялся невероятный шум и гам. Скрипачи стучали смычками о скрипки, загудели фаготы, трубы, флейты. Барабанщик забил дробь. Публика, которой случилось быть свидетельницей сей невиданной сцены, неистово аплодировала.

Каждый из музыкантов хотел пожать руку «al grande Chaliapine». Отец воодушевленно пожимал им руки

и восклицал: «evviva L'Italia!» и всех их приглашал к себе непременно в этот же вечер, к вящему удовольствию матери.

И в эту же ночь у нас на даче творилось нечто невообразимое. Пир горой, пение, музыка. Отец с Ферретти плясали то тарантеллу, то казачек в присядку, то вообще какой-то непонятный пляс. Присутствовала, конечно, и Ольга Михайловна Соловьева, как-то в экстазе покачиваясь из стороны в сторону и восторгу ее не было конца! С того дня дружба с итальянцами была крепкая, а в особенности с Карлушей (как мы его потом называли), который каждую свободную минуту бывал у нас, или отец ходил его слушать в Гурзуф.

Однажды, в свободный день музыкантов, решили огромной компанией поехать к рыбакам, жарить на кострах кефаль и печь картошку и вообще — повеселиться.

Зачинщицей и вдохновительницей всей этой затеи была Ольга Михайловна. Мы, дети, умоляли взрослых взять нас с собой. И о, счастье! Благодаря О. М. за нас ратовавшей — нас взяли! Повезли!

Я и сейчас благодарю судьбу, что смогла присутствовать при событии, которое редко случается и которое на всю жизнь остается в памяти и в сердце.

**
*

Ясное синее небо. А еще синее — море! Каменный берег, небольшой залив. Какой то, не то сарай, не то амбар... И недалеко от него приземистое корявое дерево.

Рыбаки встречали радушно. Устроили стол под этим корявым деревом, чтобы солнце не так уж припекало. Сорудили лавки, положив длинные доски на козлы. Появилось вино и закуски, привезённые из Суук-Су, а Ольга Михайловна запаслась целой батареей наилучшего французского шампанского. Рыбаки разводили костёр. И взрослые, и мы, дети, им помогали (может быть больше мешали), а потом все, вместе с рыбаками закусывали,

пили. Произносили речи. Итальянцы — на «итало-русском» языке, русские — на «русско-итальянском», что вызывало всеобщий смех и шутки, а в затруднительные моменты, переводчицей была мама. Между прочим, отец довольно прилично говорил по итальянски.

Пели всё, что приходило в голову. Один запевал, другие — подпевали. Помню смешную итальянскую песню с припевом: «ай, ай, ай, ай, *tiramì la gamba sue tramvae* (тяни мне ногу на трамвай)». Причем все в такт подпрыгивали на лавке, доска которойгнулась и отталкивалась как трамплин, отчего все подскакивали в воздух.

.

Вечерело. Солнце уходило за горы, тени стали длиннее и незаметно выплыла луна, пронзительно яркая, как только это бывает в Крыму.

Затихло море, волны чуть-чуть плескались о берег, как будто и они устали. После бурно проведенного дня, компания наша притихла. Костёр догорал, потрескивая тлеи угольки. Стали говорить тише о том, о сем...

Отец крепко о чём то задумался, тихонько что-то напевая. Встал. Прислонился к дереву, опёрся рукой о корявый, толстый сук. В густой тени чуть белел его костюм через листву, на лицо его падал лунный блик. И будто он, отец, ушел далеко, далеко в думах своих и... запел.

Кругом стало совсем тихо, все замолкли, затаив дыхание.

Полились грустные, заунывные русские мелодии; грустные, щемящие душу, такие простые, такие глубокие о горе-горюшке людском.

«... А мальченок молодой
 Не чувствует любви никакой
 Знать, над Машенькой победушка была
 Знать Машеньку побили за дружка...»

А вот и «Ноченька»,

«... Ноченька тёмная ах, да не спится!
... Нет ни батюшки, нет ни матушки
Есть одна зазноба, да и та меня не любит...»

Последним ярким пламенем вспыхнул костёр и погас. Я взглянула на Ольгу Михайловну. Она сидела напряженно выпрямившись. Смотрела, как-то никуда, а, может быть, внутренним взором видела себя молодой, где-то там, далеко, и по лицу ее ручьем катились слезы, катились обильно, безостановочно и она их, видимо, не замечала.

Последняя нота прозвучала на высоком, протяжном *pianissimo*, улетая далёко в ушедшее, неведомое и вечное...

Наступила тишина, и в этой тишине было столько насыщенности, как будто души говорили с душами.

И вдруг О. М. встала.

«Федор Иванович, ТВОЯ скала!»

Это было так неожиданно, так невероятно, что отец смешался, растерянно посмотрел кругом и захлебываясь от прилива несказанной радости только и мог произнести: «Ольга» и притянув её к себе крепко прижал к сердцу. И у обоих были слёзы на глазах, но то были слёзы радости и счастья.

Итальянцы чувствовали, что произошло нечто не совсем обычное, разразились аплодисментами и стали выражать жестикоуляцией и возгласами радость, которая передалась и им.

А один из рыбаков, помню, низко поклонился отцу и тихо сказал: «Спасибо, барин! Наш ты!» — а рыба-то был крымский татарин...

Вот, поди ж ты...

Никакой национальности настоящее искусство не принадлежит. Оно принадлежит всем. Оно наше — человеческое.

Вот так, ЗА ПЕСНЮ русская крестьянка подарила русскому крестьянину скалу, которую ни за какие, самые огромные деньги продать не хотела.

**
*

К сожалению мечте отца осуществиться не пришлось. Наступали грозные события. Разбросало людей по всему миру.

Нет в живых ни Ольги Михайловны, ни братьев Николая и Семена Аверино, бывших тогда, в тот знаменательный день с нами, нет ни Э. А. Куппера. Уехали и итальянцы в свою солнечную Италию. А те, что остались на свете, помнят ли? Помнят, я уверена. Карлуша Ферретти погиб на войне.

Ушел и отец... Но этот день не ушел, не уйдет никогда. Он был, и верю, что будет еще, что есть еще такие люди на свете и будут... будут!

Поэт обреченности

(Из воспоминаний о Марине Цветаевой)*

Я изучил науку расставанья
Осип Мандельштам

В сороковых годах, в самый разгар борьбы против Гитлера, в литературном мире произошло два трагических события, так или иначе связанных с войной. Писательница Вирджиния Вульф погибла в Англии, поэт Марина Цветаева — в Советской России. Обе покончили жизнь самоубийством.

Причины, толкнувшие английскую писательницу на путь отчаяния, до сих пор не вполне ясны. Она не пострадала от войны в прямом смысле слова. Хотя и подверглась бомбардировкам и лишилась некоторой части имущества, однако она не была выбита из колеи, не потеряла близкого на войне. Но из записей в ее дневнике, внесенных чуть ли не накануне смерти, мы знаем, что кажущееся в то время окончательным торжество нацизма повлияло на ее психику, уже долгое время подорванную частыми припадками депрессии.

Марина погибла от войны и хаоса, созданного вторжением Гитлера в пределы России. Погибла также и от страшных личных бед: она не только потеряла расстрелянного мужа и убитого на фронте обожаемого сына,

* См. «Опыты», Литер. журнал, кн. 3, Нью Йорк, 1954 год.

но и сама оказалась нежеланной гостьей, загнанной в жуткий тупик.

Осталась ли бы Марина Цветаева жива, в других, менее трагических обстоятельствах? Вот вопрос, который невольно встает перед нами. Трудно на него ответить. Для меня особенно, так хорошо ее знавшей и глубоко ее любившей. Мне кажется, что гибель ее не так легко отнести *только* к последним событиям. Вся жизнь ее была «залогом свиданья» с именно *такой* смертью.

Марина Цветаева была обреченным поэтом и поэтом обреченности. Это вовсе не значит, однако, что она страдала от какой либо врожденной меланхолии. Она была *удивительно* вынослива и физически и духовно, особенно духовно. За все десять лет, когда мы с ней почти постоянно встречались, она ни разу при мне не падала духом, ни разу не жаловалась на судьбу. Иногда бунтовала, «щетинилась», стиснув зубы и сжав кулаки, когда становилось «невтерпежь». Но и в такие минуты, она с удивительной стойкостью переносила нищету, одиночество и отсутствие признания со стороны других. Она принимала свою судьбу таковой, какой она была, потому, что это была — судьба поэта.

Нищета, непризнанность, одиночество, — эти три креста отметили жизненный путь Марины задолго до ее трагического конца. И под сенью этих крестов вспоминается мне она. Люди, окружавшие ее в эмиграции, и те, которых она встретила в Советской России, несут каждые по своему, ответственность за ее страдания. Не нашлось для нее за рубежом не только оценки и помощи, но той простой человеческой теплоты, на которую она имела бесспорное право. Кроме нескольких друзей искренно почитавших ее дарования, с ней обращались незаслуженно сурово. А там, на вновь обретенной родине, к ней отнеслись крайне бесжалостно.

Однако, все это не дает нам ключа к трагической развязке. И, быть может, совсем напрасно там его искать. Развязка, как во всякой подлинной трагедии была за-

ложена с самого пролога. И если не было хора, то сама Марина была не только действующим лицом, но и корифеем.

Вот почему Марина — незабываема. Все, что она делала, говорила, думала (часто при нас, вслух) носило печать какой-то *избранности*. Покуда она была жива среди нас, многие ее думы оставались непонятными. Только теперь, после ее смерти, начинаю их мало по малу расшифровывать.

**

Время уходит так быстро и с ним дорогие образы. Минуло уже двадцать лет с лишним со дня смерти Марины. Ее начинают признавать в Советской России, о ней много пишут и ее часто печатают за рубежом. Но мало осталось людей, не только хорошо ее знавших, но вообще ее помнящих.

Вот и я уже вижу лицо Марины в тумане, боюсь потерять черты, которые по непонятной мне причине не одна фотография не воспроизводит в точности. Да и мало вообще осталось от нее фотографий или рисунков. И все же, думаю, что не забуду! Такой большой, трудный, странный и обаятельный человек, как она, продолжает жить вне времени и пространства.

Постараюсь восстановить ее образ; если он несколько стусевался, если нет портретов, могущих удовлетворить меня, — есть зато *автопортреты*. Так я назову ее собственные само-описания, а их очень много и в стихах ее и в прозе. Стоит только внимательно ее перечесть.

Для тех, кто *не знал* ее, эти само-описания могут показаться лишь случайными набросками, намеками на что-то неопределенное, брошенное мимоходом. Другим эти зарисовки наоборот покажутся «деланными». Уж очень много в них пафоса, а иногда вдруг они переходят в игру, в кокетство... То Марина сравнивает себя с аравийским конем, то с юным офицером. Некая суровость сочетается с удалством, женская ласковость с мужественной, муж-

ской твердостью. Она изображает себя то как неземное, эфирное существо, то как патетическую, необыкновенно возвышенную героиню, почти пророчицу.

«Неужели Цветаева действительно была такой?» спрашивает недоуменный читатель. На это я могу ответить: «Да, именно такой я ее знала».

Марина не только раскрывала в писаниях свою душу, или вернее частицу своей души. Она очень метко и остроумно зарисовывала свой физический облик. При всей своей близорукости, хорошо себя видела, совсем как в зеркале. Даже чуть-чуть иронизировала, усмехаясь, сдвигая брови, чтобы лучше себя разглядеть. Вот один из ее автопортретов изображающий ее на вечере «девяти поэтов» в 1920-м году, в Москве:

«Я в тот день была явлена миру в зеленом, вроде подрясника — платьем не назовешь... честно, то есть тесно стянутом не офицерским, а юнкерским, 1-ой Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже сумка (коричневая, кожаная) для полевого бинокля или папирос... Хвалили тонкость талии, о ремне молчали».¹

Молчали потому, что этот юнкерский ремень принадлежал ее мужу, Сергею Эфрону, в то время ушедшего на Дон с добровольческой армией. И Марина во всеуслышанье читала на этом вечере при коммунистах свои стихи из «Лебединого Стана»:

— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон. (19)
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.²

Портрет юмористический молодой женщины в зеленом «подряснике»; портрет бесстрашия! Несомненно читать такие стихи в Москве двадцатых годов, да еще в

¹ Марина Цветаева «Проза». Чеховское изд. Н. Я., 1953.

² Там же.

присутствии знатных коммунистов, было не безопасно. О гражданских стихах Марины Цветаевой нужно было бы написать особо. Быть может, их нельзя назвать «гражданскими» в узком смысле слова. Она сама пишет в своих воспоминаниях, что если в те дни и «бросала чепчик в воздух», то этот чепчик летел «выше башен», «минуя литой венец на челе истукана — к звездам».³

Портрет свободного духа Марины: ее отказ от служения каким либо богам-истуканам! Эту черту необходимо учесть тем, которые пытаются отнести Марину к тому или другому лагерю. «Двух станов не боец» могло бы быть сказано именно о ней; во всяком случае по всему ей написанному на этот счет совершенно невозможно толковать ее возвращение в Россию, как «возвращенство». В ней не было гражданского культа. Однако же было, в стихах, чувство истории, отзвук на события, особенно в первых своих сочинениях.

Но вернемся к внешнему облику Марины. Да, она была именно такой, как себя описала на вечере «поэтесс», и такой я ее встретила в тридцатых годах в Париже. Правда, у нее больше не было «сумки для бинокля», но было всегда множество сумок и мешков, в руках и «через плечо». И непременно — большой клеенчатый базарный кошель. Она в нем носила все, что удавалось достать для своего бедного житья-бытья: дешевая провизия, лакомства, которые ей дарили друзья, и собранные во время прогулок трофеи: грибы, ягоды, хворост и цветы. Был конечно у нее портфель, набитый бумагами, книгами и папиросами. Так запомнилась мне Марина, как некрасовский Влас, с «сумой». Но и с тонкой талией, перетянутой ремнем, уже не юнкерским, а каким-то черкесским.

Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ременный кушак.⁴

³ Там же.

⁴ «Лебединый Стан». Мюнхен 1957.

Интересно повторение темы «тесного» кушака, ремня. Это — принадлежность Маринина одеяния, и символ ее внутренней строгости, собранности.

Платья Марины, наскоро сшитые или перекроенные, все так же напоминали «подрясники». В них было что-то монашеское. Но как ни странно, она всегда нам казалась изящной. Для вечеров, на которых она читала свои произведения, Марина придевалась и появлялась в зале в красивом костюме, в ожерельях и браслетах. В эти праздничные дни, но и в будни она поражала своей стройностью, достоинством:

Как будто сама я была офицером
В октябрьские смертные дни.

И действительно, Октябрь, революционная Москва, голод, холод, страх этих уже далеких голых двадцатых годов еще как будто тяготели над ней тогда, как многие уже успели о них забыть, устроившись на теплые места.

У Марины был тонкий, точно из слоновой кости выточенный профиль. Вся она производила впечатление тонкости, легкости, невесомости, но насыщенных напряжением мускулов, нервов, духа. В юности, как она рассказывает, ее раз приняли за Есенина, из за вьющихся светлых волос на затылке, казавшийся тогда мальчишеским. Это ее очень забавляло, но я ее такой не знала.

Помню ее коротко-обстриженные, гладкие волосы, чуть подернутые дымкой первых серебристых нитей. Туман усталости, скрытой скорби, заволакивал ее бледно-зеленые, близорукие глаза. Она была очень бледна, точно вся кровь отхлынула. Тонкие губы были сжаты. Но когда она читала свои стихи, она оживала, искрилась, как озаренная ярким солнцем.

Вот, кстати, ее автопортрет за чтением стихов на вечере «поэтесс»:

«Стою как всегда на эстраде, опустив близорукие глаза к высоко-поднятой тетрадке, — спокойная, пере-

⁵ Там же.

жидаю (сейчас же наступающую) тишину: и явственнейшей из дикций, убедительнейшим из голосов...⁶»

Да, именно так читала Марина и при мне, в Париже. Хочется воскликнуть: «Как похоже! Как верно схвачено! Тут и крайняя близорукость, и жест высоко-поднятой руки с тетрадкой, точно дирижирует оркестром, или хором, и «убедительнейшие», властные интонации.

Даже если позабыть лицо Марины, не забыть ее голоса. Не только на эстраде, но и дома, и среди друзей, она оставалась корифеем. У нее был звонкий, довольно низкий тембр, легко переходивший к высоким нотам. Она говорила сдержанно, но как власть имущая; речь ее напоминала звон бронзы.

**
*

Не будучи чисто автобиографическими, стихи Цветаевой почти все отражают важные, значительные моменты ее жизни, или перелом в настроении, новый решительный этап. Очень характерно ее стихотворение «Тоска по Родине». В этих стихах она отрешается от прошлого (Россия) но не принимает и приюта в чужой стране. «Тоска по родине, давно разоблаченная морока», пишет она и далее:

Мне совершенно все равно
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням
Брести с кошелкою базарной.⁷

И вот базарный кошель «сума», превращаются в символ вечной странницы. Жаль, что стихи эти не помечены никакой датой, но мысль о своей страннической судьбе Марина часто при мне выражала, это была ее любимая стихия: не отречение, а *отреченность*. Ужиться, в бы-

⁶ Марина Цветаева «Проза». Чеховское изд. Н. Й., 1953.

⁷ «На Западе». Чеховское изд. Нью Йорк, 1953.

товом смысле, она могла «все равно» где. Но одну Россию чувствовала и понимала. Если не ошибаюсь, иностранных пейзажей, в ее творчестве почти нет.

О многом пережитом Марина нам часто рассказывала: она умела это делать необыкновенно красочно и живо, с «изображениями в лицах», или подражая чужим голосам и интонациям. Мы не могли наслушаться. Ведь она знала всех поэтов «Серебряного Века» и следующими за ними поколениями, от Блока до Пастернака. Со многими дружила, некоторых горячо любила, как своего «Макса» Волошина. Она мало кого ненавидела, никому не завидовала, перед поэтическим или художественным талантом других — преклонялась. Любила также обыкновенных, простых людей, привязывалась к кошкам и собакам так же страстно, как и к человеческим существам.

В тридцатых годах мы с Мариной жили почти рядом в Медоне, маленьком и живописном парижском предместье. Она часто приходила к нам в дом, где, кроме нас с матерью, поселилось много русских. Напротив дома была русская бакалейная лавка, в которую мы все постоянно забегали, и которая превратилась в нечто вроде клуба.

Марина была очень популярна среди жителей нашего дома, хотя лишь немногие читали ее стихи. Политические убеждения у всех были разные, и даже в семьях все горячо спорили. Марина декламировала одним стихом о белом движении, другим читала свою поэму «Молодец», фольклорного содержания. Ее ни те, ни другие не понимали, но установилось «мирное сосуществование».

Мы часто навещали Марину. Она всегда была рада нам и вела с нами бесконечные беседы: о поэзии, об искусстве, музыке, природе. Более блестящей собеседницы я никогда не встречала. Мы приходили к ней на огонек и она поила нас чаем или вином. А по праздникам баловала нас: блинами на масляницу, пасхой и куличом после светлой заутрени. Мы вместе ходили в маленькую медонскую церковь Св. Иоанна Воина, очень скромную, но красиво расписанную. Марина редко говорила о религии, но про-

сто и чистосердечно соблюдала церковные обряды. Заутреня в Медоне была как-то продолжением пасхальной ночи в Москве.

**
*

В надежде облегчить трудную жизнь Марины мы однажды попытались заинтересовать в ее творчестве французские литературные круги. Как раз в это время она закончила французский перевод своего «Молодца», и была приглашена в один из известных в то время парижских литературных салонов. Я сопровождала Марину и очень надеялась, что она найдет в нем и помощь и признание. Марина прочла свой перевод «Молодца». Он был выслушан в гробовом молчании. Увы! русский парень не подошел к царствующей в этом доме снобистической атмосфере. Думаю, что в других парижских кругах ее бы оценили, но после неудачного выступления — Марина замкнулась в свое одиночество.

В другой раз, однако, «Молодец» спас своего автора. Как известно, в 1939 году, муж Марины, Сергей (Сережа) Эфрон был заподозрен в темном деле и внезапно бежал из Франции в Испанию, а затем в Советский Союз. В ту же ночь полиция арестовала Марину, увезла ее в участок и стала допрашивать. Ничего не зная о деятельности Сережи, которую он от нее тщательно скрывал, Марина не могла ответить на вопросы французских полицейских. Можно себе представить ее ужас и страх. В то же время, лояльность, абсолютное доверие к Сереже, не были поколеблены. Она вдруг стала говорить очень тихо по-французски. Полицейские в недоумении ее слушали. Из уст ее лились — стихи, стихи и еще стихи. Странное дело, но это чтение произвело огромное впечатление. Ее слушали с уважением и наконец отпустили. С тех пор ее никто не тревожил.

Этот эпизод, описанный мне достоверным другом, нас глубоко потряс. Впоследствии я видела и саму Марину. Под впечатлением всего пережитого она очень из-

менилась. Не то что состарилась или похудела, но в ее глазах появилось нечно холодное, чужое, точно испытанный в ту ночь страх застыл в них. Она была оскорблена, как «конь аравийский».

В эти тяжелые дни она еще приходила несколько раз к Бердяеву, который с глубоким состраданием обращался с ней, оберегал ее, как больную. И действительно, она была сломлена *задолго до отъезда* в Россию. Я была несканно огорчена этим отъездом, но зная ее, поняла, что она исполняла долг абсолютной верности по отношению к Сереже. Она не искала, не могла искать там ничего другого. Раскроем еще раз ее воспоминания: в них она пишет о том, что в детстве она как будто выбрала уже свою судьбу, или вернее судьбу Татьяны. У пушкинской героини были, как пишет Марина, «все козыри», но она не «играла». И как Татьяна, она, Марина, сделала свой выбор «между полнотой страдания и пустотой счастья».⁸

В этих словах, мы находим, наконец, ключ, который многие ее биографы ищут и еще долго будут искать совершенно, нам кажется, понапрасну. Она была человеком обреченным и поэтом обреченным по собственному выбору, «отродясь и дородясь», как она сама пишет.⁹

Будучи сама обреченной, Марина Цветаева делила обреченность других. Она любила, дружила, «шла в ногу» с теми, которые страдали, теряли, «не играли» и не «выигрывали». Почти все ее стихи и многие, многие строки ее прекрасной прозы полны словами о потере, разлуке, расставании, смерти. Читая ее переписку с Анатолием Штейгером, мне было совершенно ясно, что это была для нее в первую очередь и *только* — переписка с умирающим, — с самой смертью. Не нужно искать в ее письмах к нему каких-то посяганий на земное счастье, на какие-то встречи, здесь, под нашим солнцем. Правда, она пишет об этой встрече, о возможности выздоровленья,

⁸ «Проза».

⁹ Там же.

она напрягает эту тему, как струну, до отказа, зная, что она оборвется. В этом было, как она сама говорила «величие мифа».

Даже обыкновенную дружбу Марина умела преобразить в «миф». Приведу пример из личных моих с ней отношений. Во время нашего пребывания в Медоне мне пришлось принять важное решение: уехать надолго из Франции. Решение это было для меня очень трудным. Марина превратила мой отъезд в настоящую драму. Это не значит, что она особенно горевала обо мне. Нет, в ее глазах, в моей жизни кончались «будни», наступило время тревоги, неуверенности, полета в неизвестность.

Марина ко мне зачастила, приходила ко мне несколько раз в день, баловала, дарила книги, развлекала стихами и рассказами, помогала мне укладываться, или, скорее, мешала своей хлопотливостью. Мое приближающееся путешествие превратилось в миф. Разлука действительно сделалась трагедией. Помню Марину на вокзале, когда я села в вагон. Она стояла на перроне, бледная, безмолвная, неподвижная, как статуя. Эти проводы напоминали скорее похороны.

Волею судеб я вернулась во Францию через несколько месяцев. Марина не выказала особой радости. Мы продолжали дружить, но прежний пафос, пафос разлуки навсегда исчез. Я перестала быть героиней мифа!

Увы, ни она, ни я не думали, что вскоре нам предстоит иная разлука. Или быть может тогда, на вокзальном перроне, провожая меня, она уже прощалась со мной навеки, не в земном только плане. Было нечто пророческое в этой неподвижной фигуре. Да, то было предвестием катастрофы, *ее* катастрофы. Марина ушла в ночь и у меня ничего не осталось, кроме печали о ней навсегда.

Детский рай

L'aigle a déjà passé,
l'esprit nouveau m'appelle.

Gérard de Nerval

1

«Все, даже жизнь я отдал бы за обретение той экспрессии и той выразительности, которую моя мысль ищет с большей страстью, чем влюбленный ищет свой кумир; я ищу эту экспрессию для того, чтобы *выразить* ее, когда я буду умирать». В этих словах Киркегаарда и заключается тайна искусства. Где же артисты находят эту экспрессию? В раю! Только в раю! Но рай, ведь он открыт одним детям; взрослым он и не доступен, и не нужен. Взрослым в раю скучно; они угрюмы, пресыщены и первобытная свежесть и непосредственность рая кажется им пресной. Если проводить литературную параллель, то «Ад» Данте гораздо всем понятнее и ближе, чем его «Рай», никому ненужный. Ад — местопребывание взрослых, но удивительнее всего то, что его обитатели почему-то отрицают существование рая, опровергая его «с точки зрения современной науки». Между тем, последний комментатор «Божественной Комедии» утверждает, что положения выдвинутые о. Тэйар де Шардэн в его прогремевшей книге «Человеческий Феномен» нисколько не противоречат теодицее и космогонии, утверждаемой Дантом в его «Рае».

Рай отрицают еще и по той причине, что со второй четверти 20-го века уже всякая попытка создания положительной красоты в искусстве была обречена на катастрофическую неудачу. Положительное ведь почти никогда невозможно; только отрицательное осуществимо. Здесь загадка искусства, на которую никогда не было ответа. Быть может, отрицательное осуществляется в плане феноменальном, а положительное живет только в плане ноуменальном. Блок говорит: «Чем больнее феноменальной душе, тем ясней миры ноуменальные» (Дневник). Но от ясности постижения до осуществления путь неизмеримый.

Ад современности лучше всех показан Пикассо; артист выразил свое впечатление от безобразной действительности современного мира. «Уродливая» живопись Пикассо это экспрессия зафиксированной им реальности, его постижение феноменального мира. В силу своей абсолютной артистической честности, Пикассо не может создать прекрасное с точки зрения канона чистой красоты; ноуменальное постижение мира приобретает у Пикассо этот уродливый феноменальный вид. Иногда только он позволяет себе забыться и делает волшебные рисунки своих тореро, масок, амуров, и пр.

2

В моей памяти три поэта странным образом связаны с ноуменальным ощущением «детского рая»: Жерар де Нерваль, Хлебников и Мандельштам. Все трое были безумцами. Помешательство Нерваля известно всем; Хлебников считался то ли юродивым, то ли идиотом; Мандельштам был при всех своих чудачествах нормален, и только в контакте с поэзией впадал в состояние священного безумия.

Но все три поэта вполне подходят под высшую категорию тех, о ком говорит Платон:

“Celui qui sans le délire des Muses arrive aux portes poétiques persuadé que par la technique, il

deviendra un passable poète, c'est un incomplet, car la poésie de l'homme sensé est éclipsée par celle des délirants. (Phèdre).

Кто же такой Нерваль?

В большом старинном доме на Фонтанке вблизи Летнего Сада, из окна выходявшего во двор, на соседней глухой стене в сажень толщиной проступала леонардовская плесень; взглядевшись в нее, можно было отчетливо видеть силуэт в цилиндре и плаще, куда-то бегущий. О. А. Глебова-Судейкина говорила, смотря на эту тень: «Вот опять маленький Нерваль бежит по Парижу».

Все друзья, бывавшие в доме на Фонтанке, знали и любили призрачного поэта в призрачном Петербурге. Но в те годы поэзия Нерваля в нашем кругу почему-то не упоминалась; моя встреча с нею произошла несколько лет тому назад в Сан Франциско, городе тоже призрачном своими туманами, и поющими в тумане рогами со взморья, когда городские огни в провалах холмов блещут сквозь туман, как разноцветные леденцы. Магия сонетов Нерваля сделала для меня в те дни прошлое настоящим, т. е. сознанием целостности связи времен; «звезда воспоминанья» — легендарная тень поэта на стене дома в Петербурге была неразрывна с его голосом, звучавшим в «Химерах», которые я заново читал в Сан Франциско.

Нерваль поэт не только Франции, но и Европы; он — ее оправдание. Несколько таких, как он и «Содом» не будет разрушен. Ведь Авраам перестал торговаться с Богом после того, как не нашлось и десяти праведников. «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом».

Нерваль, которого его друзья называли «le bon Gérard» был именно одним из тех взрослых детей, для которых открыт рай. Безумие Нерваля было ноуменальным видением рая, но его феноменальный разум не был в силах справиться с измерениями невидимого

мира. Двенадцать сонетов Нерваля — это наиболее совершенное, таинственное и волшебное выражение синтеза античного мифа и утонченного латинского эстетического опыта европейской культуры. Эти двенадцать жемчужин поэзии не превзойдены никем из поэтов — символистов. Ни Бодлэр, ни Рэмбо, ни Маллармэ не сделали ничего выше и значительнее. У Нерваля был в его безумии тот же профетический опыт сознания и чувствования, то же эсхатологическое чувство одержимости поэзией, как у Хлебникова и у Мандельштама, но задолго до них. Тихий, кроткий Нерваль находился в той стихии демонов трансцендентного мира, о котором потом Бодлэр скажет:

“Sans cesse a mes côtés s’agite le Démon;
Il nage autour de moi comme un air impalpable;”
(La Destruction)

3

В тот же дом на Фонтанке приходил Хлебников. Он был влюблен в Ольгу Афанасьевну Глебову-Судейкину, влюблен восторженно и возвышенно-безнадежно, ничем свою влюбленность не обнаруживая; о ней можно было только догадываться. О. А. выросла среди поэтов, понимала их, любила и знала их судьбу. Мило относясь к Хлебникову, О. А. иногда приглашала его к чаю. Эта петербургская фея кукол наряженная в пышные, летучие, светло-голубые шелка сидела за столом уставленным старинным фарфором, улыбалась и разливала чай. Хлебникова я помню во всем величии его святой бедности: он был одет в длинный сюртук, может быть чужой, из коротких рукавов торчали его тонкие, аскетические руки. Манжет он не носил. Сидел нахохлившись, как сова, серьезный и строгий. Молча он пил чай с печеньем и только изредка ронял отдельные слова. Однажды О. А. попросила его прочесть какие-нибудь свои стихи.

Он ничего не ответил, но после довольно длинной паузы раздался его голос, глухой, негромкий с интонациями серьезного ребенка:

«Волк говорит: я тело юноши ем...
Нет уже юноши, нет уже нашего
Веселого короля за ужином.
Поймите, он нужен нам!»

Мы потом часто повторяли эти слова и любили их, с нежностью вспоминая прелестную чистоту этих интонаций. Позднее, это стихотворение приняло в печати иную форму:

«Где волк воскликнул кровью:
«Эй! я юноши тело ем», и т. д.

Когда говорят о человеке в его присутствии так, как если бы его здесь не было, и человек этот не реагирует на разговор о нем, то это означает, что он достиг какой-то подлинной, высокой степени *человечности*; у таких людей нет эгоцентрической реакции, обращенной на самого себя. Это очень русская черта, являющаяся проявлением чистоты и духовной свободы. Хлебникова в глаза называли идиотом, и я видел, что он обидного, говорившегося о нем, не слышит и не воспринимает. Со всем как Мышкин в «Идиоте»! Хлебников, при этом, не был «размазней», напротив: он умел становиться очень решительным, властным, саркастичным, но проявлял эти черты всегда только в плане идеи, в аспекте творчества, а не в плане бытовом. Хлебников был единственным встреченным мною в жизни человеком, который был *абсолютно* лишен бытовых реакций и бытовых проявлений. По этой причине он во многих вызывал недоумение: он был не такой как все, следовательно — «идиот».

Хлебников говорил: «Мы стоим у порога мира, когда будем знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть, как на временное купание в вол-

нах небытия. По мере того, как обнажаются лучи судьбы, исчезает понятие народов и государств и остается единое человечество, все точки которого закономерно связаны. Пусть человек, отдохнув от станка, идет читать клинопись созвездий. Понять волю звезд, это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами, слишком черной ночью, эти доски грядущих законов и не в том ли состоит путь деления, чтоб избавиться от проволоки правительств между вечными звездами и слухом человечества. Пусть власть звезд будет беспроволочной. Один из путей — гамма Будетлянина, одним концом волнующая небо, а другим скрывающаяся в ударах сердца».

В писаниях Хлебникова, как и в нем самом, на первом плане находится детскость и подлинная, высокая чистота. Он был важный и торжественный, как бы творивший обряд жизни и поэзии. Было что-то и от языческого идола в нем, при всей его естественности и простоте. Хлебников пишет или произносит слова так, как если бы они произносились вообще в первый раз. Стихи его не имеют начала и не имеют конца. Это вообще не стихи, а обломки чего то, обрывки фраз, осколки случайно столкнувшихся слов. Они соединяются между собой как попало, их согласованию не придается значения. Здесь отсутствует мера и мастерство, но всегда дышет свежесть, чистота и детскость. Вот что он писал о своем «заумном» языке: «Играя в куклы, ребенок может искренне заливаться слезами, когда его комок тряпок умирает, смертельно болен. Во время игры эти тряпочки — живые, настоящие люди, с сердцем и страстями. Отсюда понимание языка как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира. Люди говорящие на одном языке, участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово-звуковая кукла, словарь — собрание игрушек».

Хлебников был для нас моральным авторитетом, нашим духовным старцем от искусства. У него не было и не могло быть никакой позы; быть для Хлебникова «председателем земного шара» совсем не означало дурачества или эпатирования. Он понимал свое председательство совершенно серьезно, как и всё, что он говорил и делал. Я никогда не видел Хлебникова смеющимся; очень редко кому-нибудь удавалось его рассмешить, и тогда он улыбался, но ничего не говорил. Но поведение Хлебникова было мало понятно в артистическом кругу Петербурга, и многие злились, считали что оно — дурачество, чепуха. Престиж эстетики утонченного мастерства, понимаемого в европейском смысле был еще слишком велик в то время, чтобы можно было оценить подлинную сущность Хлебникова. Между тем, М. А. Кузмин, бывший одним из наиболее утонченных эстетов той эпохи, умный, тонкий и иронический, никогда над Хлебниковым не смеялся. И, конечно, никакого влияния на Хлебникова Кузмин не имел; напротив, Хлебников совершенно неожиданно оказал влияние на Кузмина, который, раскрыв гностический смысл Хлебникова в последний период своей творческой жизни, нашел у него источник вдохновения для себя. Стихи Кузмина, написанные под влиянием Хлебникова я слышал от М. А. задолго до их напечатания, и связь их с поэзией Хлебникова была для всех нас настолько очевидна, что мы о ней даже и не говорили.

Теперь мне думается, что в то время Хлебников был тем щитом, которым бешеные мальчики от искусства отговаживались от Запада, от западной механичности и эволюционизма.

О нашем отношении к Хлебникову я летом 1917 года, неожиданно попав в его родной город, Астрахань, сообщил родителям поэта, которых, я нашел случайно, по вдохновению, вспомнив о том, что они должны там жить. Движимый желанием увидеть их и рассказать им о сыне, я нашел дом Хлебникова; позвонил у двери,

и навстречу мне вышел его отец, до смешного похожий на поэта. Через минуту, узнав о том, что гость из Петербурга, вышла мать Хлебникова; с первых же слов разговора я понял, как родители Хлебникова страдают от его трагической судьбы, — бедности, непризнания и странностей его, которые им, между прочим, совсем не казались таковыми. В родителях Хлебникова, живущих в Астрахани не было ни провинциальности, ни обывательского мещанства. Оба они расцвели, услышав от меня о том, каким престижем обладает Хлебников в нашей среде, и какой преданностью он окружен.

Хлебников умер 28-го июня 1922 года, в деревне, в Новгородской губернии. О его кончине я узнал от нашего общего друга, художника Петра Митурича, уехавшего в ту же деревню, вероятно, на этюды.

По его словам, он созвал несколько мужиков, которым рассказал о Хлебникове, о том, кем он был, и какую он прожил жизнь. После того, как Митурич и мужики опустили Хлебникова в землю, они «выкурили на его могиле трубку мира».

Примерно через месяц в Петербурге была устроена большая футуристическая выставка. Через всю главную залу был протянут черный штандарт. На нем громадными буквами было написано: «*памяти Велемира Хлебникова*».

Настроение у всех было мрачное, и вся выставка прошла как бы под знаком негодования на судьбу, вырвавшую из среды живого искусства еще одну жертву.

4

Хлебников жил вне страстей; казалось, он был лишен темперамента. Сфера его была лунной. *Завороженный*, лунатик, он мог, казалось, ходить над бездной. Как у лунатика у него было полное отсутствие страха. Нерваль был безумцем; он жил в огненной, стихийной сфере орфического безумия. Хлебников не был сумас-

шедшим; он был блаженным и бесстрашным. Хлебников был антиподом Мандельштама, одержимого страхом; «Не превозмочь в дремучей жизни страха», это как бы формула Мандельштама.

Мандельштам не пил, не курил, и на моей памяти у него не было романов. И подобно тому, как Хлебников был влюблен в О. А. Глебову-Судейкину, Мандельштам был безнадежно, тайно и возвышенно влюблен в другую знаменитую петербургскую светскую львицу и красавицу, Саломею А-ву, которой он посвящал свой вдохновенный бред о «соломинке, соломке, Саломее».

Мандельштам был противоположен, как Нервалю, так и Хлебникову; он боялся проявления какого бы то ни было беспорядка. Хаос приводил его в ужас. Мандельштам защищался от хаоса *бытом*, живя исключительно в бытовых проявлениях жизни и цепляясь за них. Подобно новому Гезиоду он любил строй (порядок) мирной жизни и мирного труда, ужасаясь нарушению гармонии. Мандельштам любил жизнь и обладал громадным запасом жизненных сил, которых, казалось, могло бы хватить на несколько существований; без труда умея переносить голод, холод и лишения, он не мог мириться со злом и несправедливостью. Возмущенный злом, Мандельштам был способен совершить самые неожиданные и самые опасные поступки, и не задумывался над тем, к чему они его приведут. Несмотря на «страх перед дремучей жизнью» и перед хаосом, Мандельштам играл с опасностью так, как ребенок играет с огнем или малыш в школе лезет в драку с обидевшими его, большими оболтусами.

Быт Мандельштама заключался в его любви к самым простым вещам: он любил пирожные, которых мог съесть хоть дюжину, любил кататься часами на извозчике, восхищаясь свободой и тем, что он видел вокруг; в разгар революции, получив каким-то чудом комнату в «Астории», он по несколько раз в день купался в ванне, пил молоко, которое ему доставляли по ошиб-

ке и ходил завтракать к Донону, где хозяин, потеряв голову, всем оказывал кредит. Мандельштам был смешлив и очень ласков; близких своих друзей он любил гладить по лицу, с нежностью, ничего не говоря, и глядя на них сияющими и добрыми глазами.

Но «рай» этого Божьего младенца сказывался, конечно не в приведенных выше мелочах быта, а в абсолютном, музыкальном самоизживании творимого образа или идеи. В этом и заключалось его подлинное, пророческое ощущение мира, как старого и обреченного, так и нового, чаемого, но еще неосознанного. Эсхатологическое сознание было главной движущей силой Мандельштама, подлинной творческой интуицией в ее высшей категории и на большой глубине. Больше всего Мандельштаму была необходима *повторность*; ему казалось, что «прекрасное мгновенье», промелькнув, должно повториться вновь и вновь. Как память строит форму в музыке, так история строила форму в поэзии Мандельштама; в ней — музыка чисел и образов, как у Платона и у пифагорейцев, находящаяся вне всякого личного переживания или чувства. Мандельштам жил в трепете и экстазе чужих страстей, никогда не своих, но всегда отраженных. Символы истории, символы государственных форм, имели над ним неограниченную, магическую власть; но застывшие исторические факты и формулы Мандельштам превращал в живой быт эпохи; «язык булыжника» был ему «голубя понятней», и его словесная гравюра революционного Парижа, например, нам видна во всех мелочах повседневного быта. Мы привыкли думать о революционном Париже, как о грозной, бушующей народной стихии, но Мандельштам нам показывает «прабабку городов», где «камни — голуби, дома, — как голубятни», где поют песенки, жарят каштаны, а декреты Робеспьера подобны детской игре: «Здесь клички месяцам давали, как котяткам». Этот бытовой «уют», такой неожиданный при описании террора создан Мандельштамом оттого, что революци-

онная буря отбушует, а камни прабабки городов с ее домами, как голубятни, останутся.

Мандельштам никогда не объяснял того, о чем говорил, и ничуть не сомневался в том, что он будет понят собеседником. С теми, кто по его мнению не были способны его понять, Мандельштам вообще не стал бы разговаривать. Когда он сталкивался с пошлостью или глупостью, он злился, смеялся, даже хохотал. Серьезен Мандельштам бывал только в поэтической сфере. Чтение стихов было для него каким-то обрядом; читал он торжественным и спокойным голосом, скандируя на классический лад и сопровождая кадансы пассажами; он то широко разводил руками, то поднимал и опускал их перед собой таким образом, словно успокаивал разбушевавшиеся ритмические волны.

Из чтений Мандельштама мне почему-то запомнился один вечер, проведенный в странной обстановке. Однажды Мандельштам уговорил меня пойти с ним к его «меценату», который соглашался издать литературный сборник с тем, чтобы напечатать в нем собственные стихи. Жил «меценат» на окраине Петербурга, за Невской заставой, где находились хлебные склады; старый, громадный, купеческий дом «мецената» напоминал рогожинский дом в «Идиоте». Мы явились туда пешком, под вечер, и застали сборище знакомых и незнакомых; между прочим, там был и С. С. Прокофьев. Ночь прошла за чтением различных стихов, но центром внимания хозяина и его окружения был какой-то человек в сапогах бутылками, кафтане, длинноволосый, не то монах-расстрига, не то домашний мудрец, вроде Фомы Фомича Опискина. Человек этот приволок громадную книгу в полпуда весом, где им были записаны его изречения и назидания на все случаи жизни. Книгу эту он читал некоторое время вслух, при почтительном внимании хозяина, а Мандельштам ерзал на стуле, и смотрел на меня смеющимися глазами, показывая мне, что ради издания сборника, в котором у него будет

возможность напечататься, он готов всё выдержать, — и мецената, и его учителя жизни... Ведь, как и все подлинные поэты, Мандельштам знал, что от пыльных разговоров со скучными людьми можно всегда убежать в «детский рай», полный чудных игрушек — *Les abolis bibelots d'inanité sonore.*

ЖИЗНЬ И ВСТРЕЧИ

(Из 15-ой главы)

В высших партийных кругах у меня был друг (или почти друг), тов. А., женщина умная, добрая и влиятельная. Она не бросала слов на ветер и я привык прислушиваться к ее советам. Но теперь, когда и она стала предупреждать меня об опасности и посоветовала быть осторожнее, я не придавал значения даже ее словам и продолжал распространение своих идей как в театре, так и вне его. Не раз, на заседаниях Наркомпроса, под председательством Луначарского, где директора театров обсуждали вопросы репертуара, я позволял себе неосторожные суждения, критиковал установленные и принятые точки зрения на «пролетарское искусство» и мои выступления, в атмосфере этих заседаний, часто звучали бестактно и походили на озорство. Однажды на одном из таких заседаний, где был составлен длинный список запрещенных авторов и пьес (среди них Шекспир и Гете), я в дерзкой форме, высказал свое несогласие и осуждение. Мне ответили выразительным молчанием, а через несколько минут я заметил, как из под моей руки, лежавшей на столе, медленно появилась, сложенная вчетверо, записочка. Я развернул ее и прочел: «А ясно ли вы помните, товарищ, что делали с непокорными директорами театров во время Французской Революции?».

Однажды в контору театра пришло на мое имя письмо из Наркомпроса. В нем (все еще в дружеской форме), говорилось, что деятельность моя, как руководителя театра признана не вполне удовлетворительной, и что я должен прекратить «пропаганду» идей Рудольфа Штейнера, среди актеров труппы, вверенного мне театра. К письму был приложен лист с цитатами из книги Штейнера. Они иллюстрировали собой те мысли, которые я высказывал во время репетиций и занятий моих с актерами. Работа по подбору цитат была сделана тщательно и умно. (Это и была работа тех двух актеров, которые так преданы были *моим* идеям и часто отсутствовали на занятиях... скрываясь за портьерами дверей. Они записывали мои фразы, казавшиеся им подозрительными с точки зрения «идеологии» и потом находили в книгах Штейнера соответствующие цитаты).

Прошло еще некоторое время и я был приглашен к Луначарскому. У него в кабинете сидел тов. Т. Перед ним на столе лежали газетные вырезки.

— Тов. Чехов, — сказал Луначарский, — вот тут тов. Т. подобрал ваши газетные и журнальные статьи. А ну-ка прочтите их, тов. Т.

Т. начал читать отдельные места из моих статей и заметок. То, что он делал при этом, было истинным мастерством! Он, не запинаясь, читал концы и начала фраз, искусно соединяя их на свой лад и ставя голосом точки и запятые там, где находил это нужным. Интонации же его придавали фразам смысл, не заключавшийся в них первоначально. Я слушал свои собственные фразы и не узнавал их. В них звучала неприкрытая антисоветская пропаганда! Удивительно, как могли советские газеты и журналы печатать такие контрреволюционные статьи! Замечу в скобках, что недалекие партийные работники, типа тов. Т., часто полагались больше на недомыслие ближнего, чем на свой ум. Я слушал чтение довольно долго. Но вдруг меня охватило бешенство. Я потерял самообладание, вскочил и стал кричать, поч-

ти сам не понимая смысла своих слов. Луначарский, по-видимому, не ожидал такого эффекта и прекратил эксперимент.

Вскоре после этого я был вызван в Репертком, для дачи объяснений по поводу постановки «Гамлета» и моей интерпретации роли Принца Датского. Успех этого спектакля давно уже вызывал неудовольствие некоторых лиц, ответственных за общественную мораль. Явившись в Репертком, я застал там довольно большое собрание, человек около двадцати. Среди знакомых и не знакомых мне членов партии и агентов ГПУ, к удивлению моему я увидел и одного из актеров, принимавших участие в составлении листа с цитатами из книг Рудольфа Штейнера. За большим столом сидел человек с козлиной бородкой и копной торчавших вверх волос. Это был председатель. Меня пригласили сесть и начали задавать вопросы. Целью собрания, как это скоро выяснилось, было указать мне ряд «конкретных изменений», которые я должен был сделать в постановке «Гамлета», чтобы «убить разлагающее влияние потусторонности» (ударение на «ту»). Помню, что настроен я был вызывающе, присутствие актера, сбросившего свою маску, раздражало меня до крайности, я хотел скандала, хотел наговорить дерзостей всем вместе и каждому в отдельности и с чисто русским «что будет, то будет», уже не хотел думать о последствиях. Но скандала не произошло, по простой, сильно позабавившей меня причине: ни один из присутствовавших членов собрания не мог предложить ни одного «конкретного изменения». Атмосфера потусторонности в спектакле была налицо, я не отрицал этого, но чем вызывалась эта, нежелательная атмосфера? Почему присутствие Духа отца Гамлета переживалось конкретно, несмотря на то, что Дух не появлялся на сцене в нашей постановке? Какие причины создавали впечатление, будто Гамлет, время от времени, обращается с невидимыми существами духовного мира и говорит и действует под их влиянием? Почему в сцене сумасшествия Офелии чув-

ствовались два мира, из которых один, несомненно, был потусторонний? Решение этих и других вопросов, в этом же роде, оказалось не под силу собранию. Немного помог и актер. Надо полагать, что стоя за портьерой, он не мог уловить всего, что я говорил о новой театральной технике. Наслаждаясь беспомощностью, допрашивавших меня товарищей, своими ответами я запутывал их еще больше. Они раздражались, курили, откидывались на спинки кресел и заглядывали в свои записные книжки. Прошло около двух часов и «судьи» мои утомились. Перерыва не делали — не было подходящего момента. Чтобы развязаться со мной, председатель, все же, решил, наконец, приступить к «конкретным указаниям». Их оказалось три.

— Так вот что, товарищ, — начал он, — мы предлагаем вам: первое — выпустите вы на сцену какого либо из ваших артистов в виде духа. Пусть его *видят*. Так-с. Это первое. Второе — зачем там у вас голубого свету пущено? Это фантастика. Пустите натуральное освещение. Это два. Так вот, так мы и предлагаем вам поступить.

— И еще, — добавил один из присутствующих, — предлагаем вам выкинуть тоже слова... (он заглянул в записную книжку)... слова, что, мол: «... ведь я же не отдам все то, из за чего я совершил убийство, корону, власть мою и королеву». Эти слова говорит у вас король и держаться за них не надо. Так-с, так вот это пусть и будет три. (Мне показалось, что это три покорило даже председателя).

Заседание закрыли. Товарищи поднялись и стали молча ходить по комнате, потягиваясь и расправляя закорючатые руки и ноги. Они, видимо, тяготились моим присутствием. Я вышел и отойдя несколько шагов, услышал громкие и раздраженные голоса. Говорили все разом.

Изменений в постановке «Гамлета» я не сделал и неудовольствие против меня росло. Внутри театра чувствовалась напряженная атмосфера. Все, как будто, чего-то ждали. Из труппы выделились семь человек актеров.

Используя момент, они начали открытый поход против меня, моего мировоззрения и художественного направления. Их соблазняла не только личная выгода в этой беспроектной борьбе (где они становились под защиту партийной идеологии), но и мысль, что избавив театр от моего влияния, они, тем самым, предотвратят и все опасности и невзгоды, могущие обрушиться на него. Дальновидные ли были их расчеты — вопрос другой, но отказать им в своеобразной любви к театру нельзя. Приемы борьбы их были не очень тонки. Агитируя среди труппы, они запугивали актеров, давая им понять, что у них найдутся средства воздействовать не только на меня, но и на «отсталый элемент», поддерживающий мою идеологию. В уборных, в коридорах, в темных кулисах собирались группы актеров, говорили, обсуждали, гадали, предполагали и мучались неизвестностью. Регулярная работа в театре становилась почти невозможной. Группы росли, голоса становились громче — повидимому назревало какое то решение. Само собой, одно за другим стали возникать собрания. Актеры, руководившие компанией, были в большом возбуждении. Они куда то ездили, с кем то совещались, кого то «вовлекали» и добились того, что вмешательство со стороны партийных организаций оказалось необходимым. Были созваны два собрания. Первое из них организовал профсоюз. Была сделана попытка примирить враждующие стороны. Члены профсоюза, тут же на собрании, в весьма деликатной форме, дали мне понять, что малейший компромисс с моей стороны был бы достаточным основанием для них, воздействовать умиротворяюще на моих противников. Но я не пошел на компромисс и в конце собрания, разгорячившись, произнес речь против самих профсоюзов. Закончив свое выступление эффектной фразой я вызвал возбуждение всей труппы. Актеры (их было человек 60), заразившись моей эмоцией, стали шикать, свистать и слышались голоса: «долой профсоюз!» Председатель собрания встал и тихим, спокойным голосом заявил:

— Вам отлично известно, товарищи, что никакого «долой» быть не может и не будет. Вам известно также, что ежели кто не хочет работать в Советском Союзе, то мы его отпускаем за границу. Свободно. Как, например, товарища Троцкого.

После заседания, будучи разгорячен и раздражен до крайности, я схватил портфель и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, поехал в Наркомпрос к Луначарскому. Положив перед ним пустой портфель, я сказал:

— Вот тут 60 заявлений актеров об уходе из театра. Работа не может продолжаться в атмосфере, которую создали семь актеров, недовольных моим художественным направлением. Удалите их из состава труппы или отпустите меня и 60 человек актеров.

Луначарский, всегда доверявший мне, поверил и на этот раз. Он постарался успокоить меня и по его инициативе было созвано второе собрание. И здесь была сделана попытка примирения, но уже со стороны Наркомпроса. Была прислана «опытный товарищ» из Моссовета. Ведя собрание, она горячилась, кричала, увещевала и одергивала свою распушенную кофту, отчего полная грудь ее волновалась. Обращаясь к труппе она говорила, что директор 2-го МХТ хорош, что он член Моссовета и Заслуженный Артист, что театр на высоте и что надо сомкнуться. Обращаясь же ко мне, она старалась разъяснить мне, что некоторые из моих идей несовременны, что я должен прислушаться к голосам моих семи товарищей и вместе с ними итти вперед. Она призывала к «смычке» и меня, но смычка не происходила. Не только компромисса, но намек на компромисс с моей стороны было бы теперь достаточно, чтобы хотя временно, хотя для вида, восстановить мирную атмосферу в театре. Но я знал, что если хоть на один шаг отступлю от намеченной цели, я уже не в состоянии буду удержать и того, что удалось сделать за три года моего художественного руководства. При одной мысли, что с нашей сцены снова зазвучит уличная речь с ее словечками и интонациями,

что декорации станут снова похожими на антирелигиозные плакаты, я приходил в отчаяние. Я живо помнил, как выглядело «оформление» одного из спектаклей снятых мною с репертуара: вся сцена и просцениум были увешаны каррикатурными изображениями Христа, распятого на кресте. Помнил я и искаженного «Гамлета», на сцене одного из московских театров, где Офелия появлялась с визжавшим поросенком в руках, а Гамлет, с короной, надетой набекрень (сатира на царскую власть). Мне было ясно, что ни я и никто другой не может задержать волны протеста против всего, что считалось старым и отжившим в искусстве, но раскрепощенная сила шла в ложном направлении и против этого хотелось бороться. Запрещение «Лознгринна» и «Сказания о граде Китеже» в опере, было так же мало нужно для целей революции, как в литературе — появление сборника со скверными анекдотами о Льве Толстом. Все это и многое, многое другое, удерживало меня от «смычки». Заседание затянулось, ораторы стали повторяться, раздражение и усталость притупили способность понимания, атмосфера делалась все более напряженной. Товарищ из Моссовета уже метала на меня злобные взгляды и враги начинали торжествовать. Время подходило к вечернему спектаклю и надо было кончать заседание. Председательница глубоко вздохнула, поднялась, выдержала паузу и вынув из портфеля лист бумаги, подняла его вверх. Простояв в таком положении с полминуты, она объявила:

— Товарищи, я должна информировать вас, что уже состоялось постановление Наркомпросса об удалении из театра семи товарищей (имена).

Впечатление было ошеломляющим.

— Но, — продолжала она, все еще держа бумагу над головой, — исключенным семи товарищам беспокоиться не приходится — двери всех московских театров для них рас-кры-ты! (Ударение на «для». Почему?).

Я одержал победу. Но, только внешне. Всем стало ясно, что настоящая победа на стороне семи, исключен-

ных из труппы актеров. Они герои и жертвы. Один за другим произнесли они краткие, но эффектные, в духе современности, речи и под громкие аплодисменты и топанье ног — вышли из зала. Последовало долгое молчание. Когда эффект речей отзвучал, я увидел, какими встревоженными стали лица присутствующих. Все понимали, что театр, каким он был до сих пор — кончил свое существование. Все понимали, что победа «семерки» (как их называли в театре), даст им новые силы и что они не оставят борьбы, пока цель их не будет достигнута.

Внешне работа в театре еще некоторое время продолжалась, но настоящего желания работать не было ни у кого. Труппа ждала, когда и как меня «ликвидируют», что станет с театром и с теми, кто были особенно близки ко мне. Я, все же, задумал поставить «Смерть Иоанна Грозного» и «Дон Кихота». Обе постановки были мне разрешены, при условиях: роль Иоанна Грозного буду играть не я, «чтобы царь-злодей не получился там, какнибудь, симпатичным», а «Дон Кихот» должен быть поставлен так, «чтобы тем уже и забить кол в гроб идеализму окончательно». Кола забивать я не стал и моя деятельность в театре прекратилась сама собой. Члены Репертокома сидели на всех репетициях, вмешивались в постановки, вносили в текст свои поправки, изменения и сокращения. Отойти от театра мне было нетрудно: фактического дела у меня уже не было и, кроме того, актеры старались избегать общения со мной. Они осторожно оглядывались по сторонам, если я подходил к ним.

Вместо семи исключенных актеров, появились два других. Оба были Членами Правления театра, оба были людьми умными, выдержанными и повели кампанию против меня осторожно, терпеливо и тонко. Я отчасти видел, отчасти догадывался об их деятельности внутри и вне театра. Шагов против них я никаких не предпринимал, ясно понимая бесцельность попытки удержать в своих руках художественное и административное руководство. Оно никому уже не было нужно. Надо было усту-

пить место другому и я предоставил обстоятельствам довершить этот последний шаг.

При директорах театров были назначены от правительства особые со-директора, члены коммунистической партии. Работа их состояла в том, чтобы следить за деятельностью директоров, указывая им их ошибки с точки зрения идеологии, а также поддерживать и возбуждать активность месткомов и ленинских уголков. Со-директором при мне была назначена старая партийная работница, тов. Т. Случилось так, что она влюбилась в меня и потеряла «партийную установку». Она часами, задумчиво сидела в моем кабинете и с тоской глядела на меня. Она передавала мне обо всем, что предпринималось против меня, как в самом театре, так и в партийных кругах, давала советы во спасение и хотя помочь мне товарищ Т. не могла ничем, все же для партии она была потеряна.

Атмосфера в театре становилась все более тягостной. Оба актера, агитировавшие против меня, убедили труппу, что ради спасения театра я должен или отказаться от своего мировоззрения или освободить театр от своего присутствия. Однажды ночью актеры пригласили меня в театр для собеседования. Когда я приехал, все были уже в сборе. Большинству было стыдно и никто не решался начать говорить. Оба актера, вызвавшие это новое осложнение, берегли свои речи к концу, побуждая сначала высказаться других. Кто то произнес несколько вялых и неубедительных слов и воцарилось молчание. Пришлось заговорить вожакам. Они сразу внесли в собрание тон раздражения. Некоторые из присутствующих подпали этому тону и мне пришлось выслушать ряд грубых и несправедливых обвинений. Собрание это меня глубоко оскорбило. Почувствовав это, несколько человек из труппы, в эту же ночь, пришли ко мне на дом, чтобы проститься и сказать мне, откровенно, что они не имеют мужества защищать меня, что они боятся за судьбу своих семей и за самих себя. Мы расстались друзьями. Как

мог я требовать от них мужества, когда сам терял его все больше и больше. Из страха перед ГПУ я, например, разрешил спектакль в Пасхальную ночь. Спектакль этот должен был начаться позже обыкновенного, чтобы не дать возможность публике, сидевшей в театре, успеть к пасхальной заутрене.

Несмотря на мое пошатнувшееся положение, меня по-прежнему, принимали и Каменев и Енукидзе и Калинин и Луначарский, когда я ходил к ним просить за арестованных и осужденных. Все они бывали добры, отзывчивы и человечны, как только переставали спасать все человечество сразу и на несколько минут сосредоточивали свое внимание на бедствиях и страданиях *одного* человека. Много добра они делали в такие минуты и за это я с благодарностью вспоминаю о них. Даже Ягода, страшный, фанатичный Ягода, спас нескольких человек от самого себя, когда к нему, по моей просьбе, обратился его друг. Был я и у прокурора Крыленки. Судьба человека, о котором я просил на этот раз, была целиком в его руках. В приемной, кроме меня, ожидали еще человек шесть. Все сидели по стенам и только я имел неосторожность стоять, да еще по середине комнаты. Дверь отворилась и появился человек, маленький, коренастый, с бритой головой и с белыми, круглыми, как вставленными глазами.

— Что надо? — закричал он истерично и злобно, еще стоя на пороге своего кабинета. Его правая рука рвала и терзала его левую руку. Он подпрыгнул ко мне и, оглушая меня криками, стал бить кулаками воздух около моих плеч, вытягивая шею, как будто, хотел боднуть меня и тем выкинуть за дверь, дико вращал белками своих пустых глаз и, не узнав о причине моего прихода, прокричал: «нет!» и, снова терзая свою левую руку, бросился к другому просителю. Прежде чем я успел опомниться и выйти, я заметил, что от крика, Крыленко внезапно перешел на шопот. Бледный проситель, заикаясь и тоже шопотом, пытался разъяснить ему что-то. Я вышел,

прежде чем увидел, как будет вести себя сумасшедший прокурор с третьим, четвертым посетителем...

Была у меня и еще одна встреча. Я просил за человека военного и меня направили к тов. Д., занимавшему тогда большой пост. У дверей одного из особняков меня встретил часовой. Поднявшись по великолепной, широкой, но запущенной лестнице, я очутился в кабинете тов. Д. Его еще не было. Кабинет был обставлен безвкусно, случайной, повидимому, не принадлежавшей к особняку, мебелью. Через открытую дверь я мог видеть всю лестницу, почти до самой входной двери. Ждать мне пришлось недолго. Слышно было, как у подъезда остановился автомобиль, по лестнице вниз пробежали два солдата, солидно хлопнула дверь московского особняка и я увидел статную, высокую фигуру военного, поднимавшегося по ступенькам. Остроконечная красноармейская шапка делала его еще выше. Меня вдруг охватило чувство симпатии, даже нежности, к этому, незнакомому мне, человеку. Когда он проходил мимо кабинета, его лицо, борода, пенсне показались мне такими милыми. Снявши шинель и остроконечную шапку, он вошел в кабинет и пригласил меня сесть. Излагая ему свою просьбу, я путался, запинаясь и терял мысль. В его глазах я заметил хитрый огонек и это смущало и путало мои мысли. Я стал бояться, что просьба моя не будет иметь успеха. Я кончил. Подождав с минуту, он вдруг спросил:

— Неужели так и не узнаете, Михаил Александрович?

И вдруг, настоящая любовь, горячая, нежная, до слез охватила меня. Я узнал его.

— Степан Степаныч! Родной вы мой!

Я вскочил, обнял и расцеловал друга моего детства, моего партнера по игре в шахматы, в теннис, моего «Александра Македонского» в белой простыне! Степан Степаныч смеялся, я тоже. Он кликнул часового и велел подать чаю с булкой. Чай подали жидкий, ужасный на вкус, с жесткой булкой, но это была роскошь! Степан

Степаныч угощал меня на славу. Но, какая то жалость закралась в мое сердце и разговор не вязался. Откуда эта статность в фигуре, прежде такого скромного, такого сконфуженно-размашистого Степан Степаныча? Откуда такой властный взгляд? И вот, вдруг, без перехода, без подготовки, он взглянул на меня серьезно, строго и с укором сказал:

— Эх, Михаил Александрович, зачем это вы играете вашего «Ревизора»? Кому это нужно, теперь, в наши дни? Не то вы делаете. А жалко, могли бы и полезным быть.

Он замолчал и опустил глаза. Много чувств пронеслось в моей душе в эти полминуты. Воспоминания вспыхивали и гасли тотчас же, в присутствии сурового тов. Д. в военной форме. Напрасно я старался удержать и любовь в моем сердце. Хотелось встать и уйти, но дело мое было еще некончено. Пришлось сидеть, говорить, делать вид, что ничего особенного в душе не происходит и фальшиво улыбнуться при двух-трех воспоминаниях детства, о которых вскользь, из вежливости, упомянул Степан Степаныч. Рассказал он кое-что и о своей подпольной работе, в то далекое время, когда усталый и бледный он возвращался домой по утрам.

Степан Степаныча я больше не видел и что с ним случилось, не знаю.

Прошло еще некоторое время и я получил от тов. А., все еще дружелюбно относившейся ко мне, секретное извещение о том, что в ГПУ состоялось постановление о моем аресте. Ягода медлил и дни и особенно ночи, тянулись мучительно медленно. Московские газеты и журналы разом начали «травлю» против меня (обычная подготовка перед арестом). То, что писалось обо мне, было не эстетично по форме и лживо по содержанию. Материал доставлялся в газеты семью исключенными членами группы. ГПУ, со своей стороны, сообщало читающей публике, что с политической точки зрения меня надо рассмат-

ривать, как итальянского фашиста, а что мои религиозные убеждения следует, согласно Ленину, определить, как род труположества, на том основании, что я заигрываю и кокетничаю с трупом. Труп, это — Бог. Травля продолжалась около недели. Общественное мнение было уже достаточно подготовлено и арест мог быть произведен каждую минуту. В этот же период времени в Доме Советов, происходили закрытые партийные заседания, длившиеся несколько дней. На них, среди прочих дел, обсуждались вопросы театральной политики и, как мне стало известным, большая часть речей была направлена против меня персонально. Несмотря на то, что заседания были закрытыми, скоро появился толстый том стенографически записанных речей. Я не открывал его. Состояние мое было достаточно подавленным и без этих речей. Все это время я оставался дома — идти было некуда и незачем. Ягода все еще медлил с арестом и нервы мои напрягались все больше и больше.

Внезапно я получил от тов. А. приглашение к ней на вечеринку. Она извещала меня, что придет за мной автомобиль и чтобы я *непременно* ехал. Я понял: она делает попытку спасти меня. В чем заключался ее план, я, разумеется, понять еще не мог. Автомобиль явился поздно вечером, почти ночью. Войдя в квартиру А. я, еще из передней, услышал многоголосый шум, пение и звон посуды. В столовой был накрыт стол с множеством изысканных закусок, вин и водок. Круглая лампа освещала с потолка среднюю часть стола и я увидел Рыкова, Ягоду, известного в Москве члена ГПУ Дерибаса, несколько старых членов партии и среди них актера, члена правления нашего театра, ведущего кампанию против меня. Когда я вошел, никто не обратил на меня внимания. Даже сама хозяйка, как будто, не заметила моего появления. Она глазами указала мне место за столом. Моим визави оказался Дерибас. Актер сидел рядом с ним. Дерибас быстро ел, громким и крикливым голосом рассказывая актеру, как, однажды, в царское время, он спасаясь от пресле-

дования полиции, пролез сквозь узкое окошко отхожего места, протолкнув через него, предварительно, свою жену и двух детей. Актер слушал его, склонив голову на бок и украдкой поглядывая на меня. Очевидно появление опального его поразило. Пальцы Дерибаса, худые, тонкие и узловатые, с обгрызанными ногтями нервно хватались, то за нож, то за вилку, со звоном бросали их на тарелку, на скатерть, снова хватались за них, за хлеб, за рюмку с водкой и все это быстро, наспех, короткими, острыми движениями. Вдруг, наклонившись к актеру и указывая на меня глазами, он громко спросил:

— А это кто такой?

Актер назвал мою фамилию.

— Ага-а! — протянул Дерибас, прищурившись на меня и через несколько мгновений снова загремел ножом и вилкой.

Говорили все одновременно, кричали, шумели и, кроме актера, никто никого не слушал. Молчалив был только Ягода. Рюмку за рюмкой он пил ликер, зажигая его перед тем, как проглотить. Проглотив же напиток с огнем, он хвастливо посматривал по сторонам, своими широко раскрытыми, почти красивыми, но безумными глазами. В течение всей этой ночи, да и никогда раньше, я не видел его смеющимся или даже улыбающимся. Один, впрочем, раз, присутствуя на представлении «Потопа», он внезапно и дико расхохотался, следя за неудачами богатого биржевика Бира. Обычно же, бледное, неподвижное лицо его выражало не то сосредоточенность, не то, наоборот, отсутствие мысли. Вдруг Ягода вытянул руку и устремив указательный палец на голые, красивые плечи хозяйки, крикнул:

— Катя!

Хозяйка вздрогнула и закуталась в шаль. Ягода не сразу опустил свою руку, даже после того, как шаль закрыла голые плечи хозяйки. Мне показалось — она испугалась Ягоды. Что это было? В хозяйку Ягода влюблен не был. Мораль?

Недалеко от меня сидела полная женщина, с высоко поднятой грудью и плечами. Она смотрела вверх и напевала один романс за другим, раскачиваясь вправо и влево. Щеки ее горели. Она, казалось, никого не видела, ничего не слышала и была поглощена пением. Я узнал ее: это была тов. Я., следовательша ГПУ.

Рыков был настроен поэтически. Мягко развалившись на стуле, он медленно и вяло ел, непрестанно посмеиваясь, неопределенным, слабым смехом. Перегнувшись к нему всем туловищем, жилистый человек, отвернув рукав своей рубашки (он был без пиджака), показывал ему следы, уже заживших, сильно исковеркавших его руку, ран. Стиснув зубы, он бил кулаком, то по столу, то по зажившим ранам, пьяным голосом выкрикивая ругательства и проклятия по адресу царского правительства, сославшего его в Сибирь и заковавшего в кандалы. Рыков слушал и не слушал. Ему уже давно хотелось самому рассказать что-то и найдя, наконец, полу-внимательного слушателя, он, все так же мягко и все с тем же смешком рассказал, как не так давно, он приказал по телефону расстрелять пятерых крестьян, пойманных с хлебом. Что-то смешное чудилось Рыкову в этом факте, теперь, когда он слегка выпил и был в благодушном настроении. Взгляд его, во время рассказа, упал и на меня. И прежде, чем я успел отдать себе отчет, я кивнул ему одобрительно головой и улыбнулся. Отвращение к самому себе заставило меня встать и выйти из столовой. Хотелось хоть несколько минут побыть одному.

В последние дни мое воображение снова расстроилось и мне, временами, казалось, что я теряю сознание самого себя, теряю власть над своими мыслями и чувствами. И сейчас передо мной проносились картины первых дней и недель Октябрьской революции. Теперь это только далекое прошлое, и Россия уже не та и нет больше хаоса первых дней, но тогда это было *сегодня* и жило в сознании каждого русского. Не будучи в состоянии остановить этих картин, я, с мучением следил за ними,

так же безвольно, как следят за фильмом. Вот Дзержинский, в полушубке, с обезумевшим лицом, обвешанный оружием, выскакивает к толпе, загнанных в помещение особняка, случайно схваченных старух, стариков, юношей, девушек и дико кричит. Угрозы, ругательства, проклятия. Он наводит револьвер то на одну, то на другую обезумевшую фигуру в толпе. Вот Троцкий пролетел на автомобиле по Арбату, устремившись всем туловищем вперед, вытянув подбородок и сжав кулаки. Вот грузовик, накрытый брезентом, быстро движется по ночным улицам Москвы. Нельзя угадать, что укрывает брезент, но причудливые формы его, привлекают внимание и усталое, напуганное воображение, рисует жуткие картины. Вот другой грузовик, доверху наполненный иконами, подсвечниками, распятиями, ризами и другой церковной утварью. Шофер давит собаку по дороге и с хохотом оглядывается на визжащее, окровавленное, корчащееся в снежном сугробе, животное.

На минуту в комнату заглянула хозяйка и прошептала:

— Сыграйте с Рыковым в шахматы — это нужно.

Я вышел в соседнюю комнату. Там шумно и бестолково танцевали. Кто то тронул меня сзади за плечо. Я обернулся. Это был Ягода. Он, уже совсем безумными глазами, следил за танцующей хозяйкой. Нагнувшись ко мне и указывая на нее пальцем (как тогда, за столом), он тихо спросил:

— Кто *эта*?

Я не сразу ответил.

— Кто *эта* вот, что танцует? — уже с раздражением повторил он?

— Это наша хозяйка, — ответил я, — мы у нее в гостях.

— Ага, — сказал неопределенно Ягода и скрылся в темном коридоре. Там он прохаживался, время от вре-

мени, появляясь на пороге. Тут я заметил его кривые ноги и не по росту, большие ступни.

Тов. Я. с красными щеками, подошла ко мне, взяла меня за руку, подставила свою высокую талию и, протанцевав со мной несколько туров вальса, села, мечтательно подняла глаза и снова запела. Я вспомнил, что говорили в Москве, о приемах ее ночных допросов и долго не мог оторвать от нее глаз. Ее улыбка, пылающие щеки и нежное пение, мучили меня в эту минуту больше, чем то, что я знал о ней.

Не помню, как появились шахматы, как Рыков и я оказались друг против друга за шахматной доской и как началась игра. Помню, что присутствие Ягоды я чувствовал все время, даже не глядя на него. На пол, к ногам Рыкова, опустилась наша хозяйка. Прижавшись головой к его коленям, она повторяла все одну и ту же фразу.

— Я твоя раба, я твоя верная собака...

Она целовала его руки и блаженно смеялась.

— Студент-заика — (партийная кличка Рыкова), — говорила она, ласкаясь к нему.

Ягода, следя за игрой, несколько раз подходил к нам. Рыков играл хорошо. Он блестяще пожертвовал коня и выиграл партию. Когда игра кончилась и Рыков, поблагодарив меня, встал, Ягода сел на его место.

— А ну-ка! — сказал он, расставляя фигуры. Игра началась. Кто то сел на ручку моего кресла и обнял меня за шею. Это был Рыков. Я начал догадываться, для чего я был позван на вечеринку. Рыкова я никогда раньше не встречал и не был знаком с ним лично. Обнимая меня, Рыков, повидимому, демонстрировал Ягоде свое дружеское ко мне отношение, что и должно было несколько смирить Ягоду. Хотя Ягода и был всемогущ, все же Рыков, как председатель Совнаркома, был его начальством. У меня появилась надежда. Моим единственным спасением было получение заграничного паспорта. В течение шести лет, каждый год, на два-три

месяца, меня выпускали за границу. Свой отдых я проводил в Италии (отсюда и итальянский фашист). Выдача паспорта зависела исключительно от Ягоды и в этом году он, намереваясь арестовать меня, естественно, отказал мне в нем. Но теперь у меня появилась надежда. Ягода играл плохо и грубо. Скоро ему пришлось сдаться. Схватив своего короля, он с силой бросил его на середину доски, выругался и отошел от меня. Я собрал, попадавшие на землю фигуры. Надежды мои снова поколебались.

Уже светало, часть огней погасили, а гости все еще пели и плясали. Ночь была их временем. Привычка бодрствовать до рассвета, делала их теперь свежими и не такими пьяными, как с вечера, хотя пили они и теперь. Я, как то, видел и раньше Ягodu на отдыхе, в частном доме. Там я видел его днем. Он, сонный, бесцельно бродил по комнатам, часто мыл руки и, казалось мог заснуть каждую минуту. Когда же совсем рассвело, гости вдруг все разом устали, осели, перестали двигаться и говорить и разошлись, не прощаясь друг с другом.

Мои догадки и надежды оправдались — я получил заграничный паспорт и не теряя ни одного дня, выехал за-границу. Как сложилась там моя жизнь, скажу после. Теперь же упомяну только, что я еще не был уверен, что останусь за границей совсем. Из Берлина я послал в Наркомпрос письмо, излагая в нем условия, на которых я мог бы вернуться. Ответа на письмо я не получил, хотя и узнал, вскоре, что его читали, обсуждали и даже одобряли. Были и скептики. «Чехов требует собственный театр» — писали в Москве, — «тогда он вернется. Губа не дура». Через несколько месяцев приехала за границу и тов. А. Она сказала мне, что не советует возвращаться сейчас. «Может быть через года два», — сказала она и я стал устраивать свою жизнь за границей.

Н. А. Тэффи в письмах

Спор о том, можно ли опубликовывать частные письма писателей после их смерти — не новый. Обычно разрешается он против тех, кто хотят скрыть переписку, имеющую общий интерес и проливающую свет на жизнь, взгляды и творчество писателя. По человечеству, попытка близких людей удержать как можно дольше писательские письма под спудом, понятна. Слишком много в них личного, интимного, и слишком резко и порой несправедливо затрагиваются в этих письмах чужие репутации. Удивительно, что писатели, в достаточной мере осведомленные о том, что рано или поздно переписка их будет опубликована и станет достоянием гласности, как будто с этой угрозой не считаются. В результате, в письмах Пушкина множество слов приходится заменять многоточиями; переписка Достоевского потрясает своим человеконенавистничеством; письма Чехова к жене и к друзьям содержат некий неожиданный элемент мещанства, которому Чехов-писатель был совершенно чужд. Значит ли это, что письма не следовало опубликовывать? Можно ли представить себе настоящее исследование жизни и творчества Пушкина, Достоевского, Тургенева, Чехова, или Бунина, вне знакомства с их личной перепиской?

Все это объясняет, почему мы решили опубликовать выдержки из писем Надежды Александровны Тэффи, относящихся к последнему периоду ее жизни. Десять

лет, прошедшие со дня смерти Тэффи, слишком короткий срок, чтобы определить ее точное место в современной русской литературе. Десяти лет, однако, вполне достаточно, чтобы писателя основательно забыли. С Тэффи произошло явление обратное, — ее творчество за эти годы как-то отстоялось, выкристаллизовалось, очистилось от всего временного, фельетонного, злободневного. Осталась большая русская писательница гоголевской традиции, у которой слезы в конечном счете всегда преобладают над смехом. Н. А. Тэффи очень тяготилась своей репутацией юмористки. Юмор был толко средством, которым пользовалась она, чтобы подчеркнуть некое моральное убожество, тупое самодовольство, ханжество ограниченных людей. Ее подход к людям был в глубину, но вместе с тем полон снисхождения, — Тэффи понимала и даже как-то ценила человеческие слабости.

Перечитывая 67 писем, сохранившиеся в моем архиве, я обнаружил в них немало ценного для будущего историка эмигрантской литературы и для творчества самой Тэффи. Письма эти рисуют печальный конец жизни русской «юмористки», — ее повседневную борьбу за существование, гордую нужду, ее душевную тоску, большую человеческую теплоту и тяжкую болезнь, которая, в конце концов, свела ее в могилу. В этих письмах Тэффи оживает, становится нам близка, понятна, почти физически ощутима. Конечно, далеко не все может быть опубликовано в данное время. Еще живы многие люди, о которых она говорит, еще нуждаются в проверке времени некоторые ее суждения. Размеры настоящей статьи позволяют привести только пространные цитаты из писем, которые будут, надо надеяться, когда нибудь опубликованы полностью.

**
*

Знакомство мое с Тэффи относится к началу тридцатых годов в Париже, но встречи тогда носили редкий и случайный характер. Потом была война, мы уехали в Америку и начали новую жизнь.

В начале 48 года вышел сборник моих рассказов «Звездочеты с Босфора». В июне месяце я неожиданно получил от Тэффи письмо по поводу книги, доставившее мне большую радость. Так началась наша переписка и дружба, не прерывавшаяся до самой смерти Надежды Александровны.

Писала Тэффи много и охотно, — письма ее были пересыпаны шутками, меткими, порой беспощадными замечаниями. Начинала всегда с иронически-ласкового обращения: «Ангел с серебряными крыльями», «голубь мой сизый» и т. д. Эпитеты эти я оставил только в нескольких письмах, в качестве стилистического образца Тэффи.

Письма от нее приходили нерегулярно — иногда раз в неделю, иногда с перерывом в 15-20 дней. Написаны они были либо на тонкой бумаге, размашистым, неразборчивым почерком, либо настуканы на пишущей машинке, в которой буквы прыгали вверх и вниз, с обязательной припиской от руки в конце письма. Очень трудно установить хронологический порядок писем. Только немногие датированы, а большей частью Н. А. проставляла день и месяц, но год забывала указать. В некоторых случаях точную дату письма удалось восстановить по штемпелю на конверте; в других, — по событиям, о которых идет в письме речь. Так, например, в нескольких письмах без даты она говорит о юбилее И. А. Бунина. 80-летие И. А. Бунина праздновалось в Париже в 1950 году. Таким образом можно было установить период написания этих писем.

В письмах выпущено многое личное и очень многое, касающееся денежных дел. Не все, однако: читатель должен знать, в какой тяжелой нужде жила в эмиграции большая русская писательница.

**
*

Летом 1949 г. после длительного отсутствия, мы приехали с женой в Париж. Приезду предшествовало письмо от 21 мая 49 г., в котором Н. А. писала:

Сегодня была на юбилейном чествовании Маклакова (80 лет). Господи! Какие мы все стали старые хари! Голубчик, предупреждаю Вас — не пугайтесь. Вы нас давно не видели. Мы очень страшные, облезлые, вставные зубы отваливаются, пятки выворачиваются, слова путаются, головы трясутся, у кого утвердительно, у кого отрицательно, глаза злющие и подпухшие, щеки провалились, а животы вздулись. Теперь Вы знаете, какая картина Вас ждет.

К моему ужасу, страшная картина, нарисованная Н. А. во многих случаях оказалась близкой к истине... Постарели все, и особенно это было заметно на литературных «четвергах», которые происходили в это лето на квартире И. А. Бунина. Собирались на рю Жак Оффенбах очень старые и так называемые «молодые» писатели, — самому молодому было уже далеко за пятьдесят. После одного из таких вечеров Н. А. Тэффи попросила проводить ее домой, а потом, через день или два, мы пришли к ней в гости.

Жила она в доме № 59 на рю Буассьер, в небольшой квартире, заставленной книгами. Над диваном висел портрет молодой Тэффи с гитарой в руке... Собственно, настоящим хозяином в этой квартире была не Тэффи, а большой кот, лениво разгуливавший по столу и недоверчиво обнюхивавший посетителей. К несчастью, кот обнюхивал не только посетителей, но и тарелку с печеньем, поставленную на стол. Н. А. никак не могла понять, почему мы отказываемся от предложенного угощения.

— Нельзя, Надежда Александровна. Полнота, — кротко говорил я, отодвигая обнюханное печенье.

Не трудно было понять, что хозяйке этой квартиры живется не легко. Заработки Н. А. были случайные. Вечеров своих по состоянию здоровья она устраивать больше не могла.

В Париже я встретился с С. С. Атраном — миллионером, филантропом и довольно оригинальным человеком, который сам себе отказывал в мелочах, но на благотворительность давал крупные деньги. С. С. Атран сог-

ласился по моей просьбе выплачивать скромную пожизненную пенсию четверем престарелым писателям — в числе их была Н. А. Тэффи. В сентябре месяце, уже после возвращения в Нью Йорк, от Н. А. пришло письмо:

Дорогой мой друг Яков Мойсеевич!*

Начинаю с благодарности, очень большой и горячей. Чек от Атрана получила. Написала ему и послала книгу с надписью «Все о любви» — и книга и надпись.

Не удивляйтесь, если это письмо будет дурацкое. Я пролежала 10 дней и только сегодня встала — чему свидетелем мой почерк. Но вот никак не могу помереть. А пока что для поддержания остатка дней своих послала Вам 11 книг для уловления и эксплуатации нежных сердец.

Да, вот, не умираю, хотя доктор Беляев, и сказал мне: «будьте готовы». Но это относится, очевидно, не к моей смерти, а к тому, что он начинает читать мне свой новый роман.

Бунин, говорят, молодцом. Я его еще не видала, т. к. не только пойти к нему, но и принять его не могла — так мне было худо.

Начала писать о Мережковских для Н. Р. Слова. При всей моей мировой нежности выходит зло. Вот люди, о которых ни в ком не осталось ни тепла, ни света. Но персонажи любопытные.

Сердечно Вас обнимаю и шлю привет Вашей милой жене

Преданная Вам
Тэффи

Одиннадцать книг, о которых говорит в письме Н. А. предназначались для продажи в ее пользу среди состоятельных людей в Нью Йорке, — таким же самым способом в течение ряда лет, добывались средства и для И. А. Бунина. Обычно за книгу, в которую позже клеивался дарственный автограф писательницы, платили от

* Яков Мойсеевич Цвибак («Яша») — имя и фамилия автора этой статьи, избравшего литературный псевдоним — Андрей Седых.

25 до 50 долларов. Получив первую сумму, вырученную от продажи книг, Тэффи написала:

Дорогой мой друг
Яков Мойсеевич!

Такого со мной никогда не бывало! За что? Такие вещи встречаются только у Диккенса, в рассказах для юношества. Сидит больная корга и думает — остаться еще на недельку, или ехать в Париж, в темную комнату, которую нужно самой убирать, самой готовить гнусную стряпню — прямо нет сил. Спазмы не желают успокоиться и не может корга ни писать коргиные рассказы, ни подбодриться.

И вдруг — Ваше письмо! Это действительно чудо. Вы и представить себе не можете, какое это чудесное чудо!

Я вообще никогда не жалуясь. Мой идеал — одна старая и отставная консьержа, которая делала вид, что у нее есть *bijou et économies*. Какой то парень поверил, пришел и зарезал ее. Гордая смерть, красивая. Добыча — 30 франков. Так вот — живется мне хуже чем Вы думаете, но этого знать Вы не могли. Даже обидно — как это Вы сообразили? Неужели заметно? Вот сижу месяц на отдыхе, а ни писать, ни поправиться не могу. Кончено.

Книги для американцев пошлю (если Вам эта ваша идея еще не надоела). «*La vita comincerà domani*» как сказал Д'Аннунцио.

Дорогой мой друг, обнимаю Вас и благодарю — ничего больше сказать не придумаю. Еще не могу опомниться.

Ваша всегда
Тэффи

P. S. Катастрофа: абсолютно не могу работать. Ни одной мыслишки, ни одной фразы. Неужели навсегда?!

**
*

Более или менее регулярное получение денег из Америки вызывало у Тэффи неизменное смущение... «В чем дело? Что это за деньги? писала она. Что за уголовщи-

на? Кто из нас купца зарезал — Вы или я? Ничего не понимаю».

А в следующем письме она просила: «Ради Бога не «удваивайте» долларов, из имеющихся у Вас средств. Это прямо чорт знает что такое! Никогда еще не была на содержании так что уже начинать поздно. И никаких у Вас «имеющихся средств» нет. Все вздор. Разрешите мне любить Вас даром».

Письмо без даты

Дорогой мой друг, закройтесь немножко, я буду с Вами беседовать. Или Вы в горах уже не голый?

Смешно мне, что у Вас жарко. У нас без пальто на улицу не выйдешь, а я сижу дома в стеганом ватном халатике.

У меня все идет как по маслу. О здоровьи не разговариваю. Было совсем плохо. Доктор велел убираться скорее на воздух. Я с омерзением думала о Нуази. И вот тут-то меня и хлопнуло по голове. Неожиданно позвонили, что власти запретили сдавать комнату в доме для законных стариков. Мои друзья мечутся по всем окрестностям и конечно, сейчас, после 15-го июля, ничего найти не могут. Если так и не найдут, что конечно будет, то придется мне оставаться в Париже в пустом доме... Мои хозяйки уезжают в начале августа до начала сентября. Из знакомых в городе не будет никого. Если фам де менаж не уедет, то будет приходиться три раза в неделю смотреть, не отъели ли мне мыши нос. Выходить на улицу я могу два раза в неделю. Вот так Гран Гиньоль! Смешно сказать, но мне все это как-то безразлично. Отношусь как к дурацкому анекдоту. Все кругом кричат: «Нельзя же так!» Ан выходит, что можно. Ну, довольно об этом.

*

Газета доходит к нам в Париж какими-то скачками. Да еще и с пропусками. Я не видела моего рассказа «Тетя Зета». И не знаю, номер ли не дошел или рассказ не напечатан. Кто остался вариться в редакции?

Господи, как я хотела бы быть Вашей рыбой!* Я тоже существо хладнокровное. Конечно, рыба хороша собой и

* Относится к описанию моего аквариума с тропическими рыбками.

наверное моложе меня, хотя пойдя разберись, морщин у них нет, а некоторые из них живут по тысяче лет.

Скоро приедет Алданов. Он очень доброжелателен и мил ко мне и всегда старается быть ласковым. Повидаю его с радостью.

До свиданья друг мой дорогой и любимый. Обнимаю Вас обоих. Судьба — дура. Она воображает, что я могу повеситься. Забыла учесть мое благословенное легкомыслие.

Еще раз благодарю бесконечно. Ваша всегда

Тэффи
верная и преданная

30 января 1949 г.

Что у Вас в газете делается — понять не могу! Я уже писала Марку Ефимовичу** что газету получаю с большими пропусками. Послала ему о Куприне — подтверждения в получении рукописи не получила. Не получила своей напечатанной статьи о Сологубе. Что она напечатана знаю из писем американских читателей, да и в Париже кое-кто уже получил.

Пожалуйста, явите Божеску милость, обругайте экспедицию какими хотите словами (на выбор из лексикона Бунина) и попросите, чтобы выслали мне два номера Сологуба. Чего они оригинальничают? Писателю всегда газета высылает его напечатанное произведение.

Друг, простите, что пристаю, но Вы мое единственное прибежище.

«Кафеджи» у Вас замечательный. Пожалуйста, печатайтесь почаще.

Здоровье мое плохо. Скоро помру. Наверно всплакнете: «Эта старая дура ценила меня. Понимала, ведьма, кое-что в литературе».

Сердечный привет.
Ваша Тэффи.

P. S. Мне сказали, что наш Вейнбаум очень на вид приятный. Я рада. Не люблю харь.

** М. Е. Вейнбаум, редактор Нового Русского Слова.

13 ноября 49 г.

Яша! Яша! Вы типичный Ангел! Вчера пришла ко мне Ваша милая дама и отвалила мне ни более ни менее как 33.870 франков, за которые от всего моего испорченного сердца благодарю Вас. Я еще лежу в постели, слабая, как чорт после заутрени (перед заутреней он юлит) и она удивилась, что у меня при этой слабости блестят глаза. Я указала ей на причину этого явления — 33.870. Спасибо, Яша, дорогой и самый лучший.

....

Вернулся из Америки д-р Вербов. Нашел мое сердце плохим и велел мне немножечко полежать. Вот и лежу. Было очевидно какое-то отравление, и что вся я погибла, начиная с печени. Лежу почти месяц. Для подкрепления заставляет есть bouillon de legumes. В морковной воде, сами понимаете, такая сила, что хоть быка свалит.

Был в Париже Керенский, звонил, хотел видеть, а я так не смогла принять его. Ужасно огорчена. Хотелось очень его видеть.

Из письма без даты

У Вас теперь всю газету заливают Ремизов. А и врет же он! Пишет, что Паскаль пошел в монастырь. А я с ним вчера говорила по телефону. Очень забавно, что сейчас адъютантом у него состоит М. и пишет из подобострастия ремизовским стилем. Но, конечно, ремизовские воспоминания очень занятны, хотя как всех стариков его тянет на непристойности. И не начались бы письма в редакцию от личностей, затронутых его враньем. Ну да это тоже весело.

...В Париже жизнь стала совсем лютая. Приезжие американцы шарахаются от наших цен. Ахнут, охнут и поскакали к себе на родной Гудзон.

...Был у меня Керенский. Рассказывал много интересного. Был скрипач Дубенский, очень милый человек. Спрашивал, что передать в Америку. Я просила всех поцеловать. Так что готовьтесь.

Милый Яшенька, обнимаю обоих. Не забывайте меня. Ничего неизвестно (что эти слова значут сама не знаю. Вылезли из подсознательного. Должно быть это скрытая мудрость).

Всей душой Ваша

Тэффи.

Письмо без даты

Милый и дорогой Яша!

Аминадо мне книгу не послал. Он почему-то давно уже на меня дуется. Верно что-нибудь кто-нибудь наплел. Как говорится, «видна рука Москвы».

*

Что выбросили фразу из моего «человечного фельетона» — спасибо. Я могу еще и не то написать. «Стар стал и шаловлив», как Мельник из «Русалки». Дурею не по дням, а по часам, но чужую дурость вижу зорко, до тошноты. А жаль, что Аминадо дуется. Я его люблю. Он вообще отошел от литераторов. Народ беспокойный, старый больной и все говорит о своей бедности.

*

Здоровье мое скверное. Выступать на вечере не могу — строго запрещено и сил нет. А другого крупного заработка для нас не существует. Место на русском кладбище тоже кусается. 15 тысяч, не пито не едено, а если при этом еще выпить как следует, то совсем будет не в подъем.

23 августа

Пишу я Вам без всякого особого смысла и цели, просто чтобы сказать Вам, что я все та же нудная, но любящая Вас тварь Божия, которой очень хочется узнать, как Вы сейчас живете и хорошо ли Вам.

У нас погода невыносимая даже для такого нетребовательного существа, как я. За все лето было четыре дня без дождя в начале июня с предгрозовой духотой, от которой все переругались. С завистью читаем про вашу американскую температуру. По нашему расчету — переводим Цельсия на Фаренгейта и делим на родного Реомюра — Вы все давно уже сварились. Жара действует и на экспедицию «Н. Р. Слова». Всем нам прислали вместо воскресного номера две пятницы. Это, конечно, очень оригинально, но имело бы значение только для магометан — пятница день Магомета. А нам подавай заслуженную крестословицу. Это не может быть ошибкой и случайностью, потому что так аккуратно ошибаться рассеянный человек не может.

Проездом через Париж был у меня Алданов. Рассказывал много интересного об американской жизни. Но все очень сложно. Кое о чем говорить можно, но не всем, кое о чем никому говорить нельзя. А так как я бестолковая, то решила вообще молчать. Не помню, можно ли говорить о новом издательстве?.. Кажется нельзя.

Простите друг дорогой, что наболтала без ладу, без толку. Это от сырости.

Сердечно обнимаю Вас обоих. Мне было немножко беспокойно без вестей о Вас. Знак, что я Вас люблю.

Всегда Ваша Тэффи.

В конце 49 года Н. А. Тэффи засела за большую статью о Д. С. Мережковском. Писала она медленно, с большим напряжением, и о том, какой ценой давалась ей эта статья можно судить по выдержке из ее письма от 16 декабря:

В болезни моей виноваты Мережковские. Я почти закончила большую статью о них (не очень то сладкую). Мне приснилась Гиппиус, которая тянула меня к себе за руку и кричала: Тэффи с нами! Тэффи с нами! Я проснулась больная. Но вот поправлюсь, статью закончу. Я писала честно.

26 января 1950 г.

....

Неделю тому назад послала рукопись о Мережковских. Надеюсь, что она получена. Но я почему-то не получила Н. Р. Слова со статьями Бунина, которые уже все здесь получили. Может быть, забыли мне послать? А меня как раз очень интересуют эти статьи.

Следующая моя статья будет о З. Гиппиус. Тоже был «номер»! Друг милый, если можно пришлите мне о Мережк, когда будет напечатано, по воздушной почте.

10 февраля 50 г.

Яша, свет мой ясный! Что только делается на свете, а мы с Вами и не знаем! Галич написал Пантелеймонову, будто Н. Н. пришла в бешенство от моей статьи о Мережковском и кричит, что это Вы, Яша меня купили, т. к. Вы ненавидите Мережковских за их высокомерие по отноше-

нию к Вам. А я то, ничего не знаячи об этой купле-продаже, сижу тихо и пишу о З. Гиппиус. Теперь не знаю, сколько с Вас заломить за Гиппиус. Тысяч сто не мало?

....

Ну а как быть с Н. Н.? Может быть, у нее есть и единомышленники? Напишите, если что услышите. Если станут спрашивать, сколько Вы мне заплатили, говорите — тысячу долларов и то по знакомству. А с чужих беру дороже. Лаять ведь тоже дело утомительное.

Сердечно обнимаю обоих. Ваша Тэффи.

И, наконец, заключительное письмо на эту тему:

17 марта 50.

Яша! Яша! Спасибо. Вы не с серебряными крыльями. Вы ангел серебристый — весь серебрится такой ангел и вешают его (ой как нехорошо выходит!!) на елку. Спасибо за вырезку.

Я перечитывала моих Мережковских и Гиппиус и — верьте слову — сказала и половины не рассказала того, что нужно было бы. Но не хотелось *laver le linge sale*. Они были гораздо злее и не смешно-злые, а дьявольски. Зина была интересна. Он — нет. В ней иногда просвечивал человек. В нем никогда.

*

Вчера первый раз вышла на люди. Была у Буниных, но конечно днем, когда нет сборища и крика. Он ничего себе. Бойтся юбилея: «Не доживу». Точно без юбилея будет долговечнее. На вид он ничего, но конечно на все жалуется. Вера Николаевна очень бодрая и веселая. Зуров расширился в плечах и в выражении глаз появилась неотразимость.

*

8 июня 50 г.

Ваше письмо меня очень растрогало. Вы угадали — мне не хотелось так писать. Плохо я себя чувствовала не только в этот день, но и во все дни живота моего. Ехать на лето в *Juan les Pins*? Десять минут здорового смеха. Иван Алекс. за один билет заплатил 40 тысяч. Мне тоже нужен для поездки максимальный комфорт. Ехать одна не могу — надо к кому-нибудь присоединиться. Нужен

wagon-lit. Кроме того уже настала жара и на юг меня доктора не пускают. Но уехать на август я должна, т. к. моя квартирная хозяйка уезжает, а одной в доме оставаться нельзя. Придется ехать в богадельню в Noisy le Grand, которая на меня очень тяжело действует морально. Но это близко — такси 400 фр., пансион 400 фр. в день. Но это «Православное дело». Все время молебны и панихиды, разговоры о болезнях и смерти. Люди все милые, но атмосфера тяжелая. Природы никакой нет. Садик, огородик. Иногда кто-нибудь умирает. Се n'est pas rigolot. И это тот отдых, о котором я должна мечтать и что может быть туда еще не пустят, если Земгор нагонит туда какихнибудь неизлечимых стариков.

Кускова советует записаться в богадельню для интеллигентных, которая скоро откроется под Парижем. Какой ужас! А придется. По всем понятиям — по возрасту (я старше, чем Вы думаете), по болезни неизлечимой я непременно должна скоро умереть. Но я никогда не делала того, что должна. Вот и живу. Но честно говорю, надоело. И, знаете, я даже люблю свои мучительные сердечные спазмы. Я тогда, во время этой болезни, понимаю, что ничего мне не нужно — ни моря, ни гор, ни музыки, ни льстивых речей, — ни-че-го. Вот так под эту боль — уйти.

Этим веселым пассажем самая веселая писательница кончает свое письмо.

Яша, дорогой! Там в Н. Р. Слове застряла статья Пантелеймонова. Он волнуется — вдруг не понравилась и не напечатают. Он, бедный, очень плох. Уже не встает. Очень слаб, едва шепчет. Жаль его до отчаяния.

Сердечно Вас обнимаю. Жену Женю тоже. Хочу чтобы все у Вас было хорошо.

**
*

24 июля 50 г.

Дорогой мой Яша!

Вы самая стабильная валюта. Вы один из всех денежных знаков не теряете своей ценности. Вот и лежите в сокровищнице моей души сказочным, неизменяемым рублком. Обнимаю Вас и благодарю за все.

Ив. Алекс. довольно плох. Хуже всех из нашего трио (мы когда-то вместе собирались в дни далекой юности три года тому-назад) хуже всех бедный Пантелеймонов. Он очень страдает, почти не встает. И материльные его дела

ужасны. Вообще кошмар. Два раза в месяц я езжу его навещать, выбирая время, когда ему лучше и когда мне лучше.

Из всей нашей компании жаль только Пантел. п. ч. он очень хороший. А мы с Буниным — так себе.

....

Все нации требуют от меня большого романа. Немецкий переводчик, итальянский и наши французы. Ну да где уж мне. Жизни не хватает. На этой неделе хочет меня интервьюировать некто из «Нувель Литтеррер». Хочу уклониться. Для француза писательница, живущая во втором дворе без лифта в грязной комнате (по Достоевскому «в углу у красильщицы») интереса не представляет.

**
*

7 сентября 50 г.

Вернулась в Париж такая же усталая и зеленая как и уехала. Лето было дождливое, настроение такое же. Там же в Нуази Ле Гран жил и Пантелеймонов. Я измучилась, глядя на него. Он ужасно страдает. Все это совершенно невыносимо.

Года два тому назад мы часто объединялись втроем — Бунин, Пант. и я. Было всегда очень интересно. Бунин любит Пант.

Первая из трио сдала я: кровоизлияние в сердце. Потом оперировали Пант. Потом скис Бунин. Сейчас Бунин в клинике, где ему сделали бескровную операцию. Точно не знаю, так как по телефону говорила Вера Ник. Она переутомлена и говорит нечленораздельно, а вопросов не слышит и говорит одновременно с собеседником про Леню и Лялю. Ужасно ее жаль. Он чувствует себя бодро, но его оставляют в клинике, чтобы он не своевольничал и не делал запрещенной ерунды.

**
*

18 сентября 1950 г.

Передаю Вам последний привет от Пантелеймонова. Он на редкость тепло всегда о Вас говорил. Вчера в 4 ч. утра он скончался. Конечно в доме ни гроша денег. Он все раздавал обеими руками и улыбаясь говорил: «Все равно похоронят на общественный счет». Так и выходит.

Вот как невесело начинается наш сезон. Бунин поправляется и скоро переезжает из клиники домой. Его наверно ужасно потрясет смерть Пант. Он его очень любил.

Пост скрипtum к письму от 26 сентября:

...Бунин очень слаб и очень плачет о Пантелеймонове. Он его любил.

**
*

Смерть Пантелеймонова потрясла и Тэффи и Бунина. Каждый из них уже ждал своего часа, — Бунин — с ужасом, Тэффи с каким-то оттенком любопытства. К тому же, жить становилось все труднее. И. А. Бунин возлагал некоторые надежды на свой юбилей, и надежды эти частично оправдались. Тэффи потеряла всякую способность бороться за существование, — «жаба, забравшаяся ко мне в грудь, писала она, не дает покоя».

Письмо без даты

А я все хвораю. Вечера в этом году устроить, повидимому, не смогу. Очень это хлопотно и унинительно. «Что она очень голодает? Да, ест только вчерашние помои с картофельной шелухой». А я вероятно от старости стала очень гордая. Милые читательницы из Сан Франциско три раза спрашивали меня не нужно ли мне чего. Я отвечала: Мне нужно только Ваше милое отношение, а я уж его получила. Яша, милый, видели Вы еще такую дуру?

....

Я в последнее время совсем одурела от лекарств и работать не могу. Дилемма: погибать в полном уме от спазм, или жить идиоткой с лекарствами. Я дерзновенно и радостно выбрала второе.

....

Бунин, говорят, после юбилея повеселел и чувствует себя хорошо, хотя в этом и не признается.

....

Приезжала миллионерша из Сан Франциско. Чтобы меня «побаловать» привезла пряник, который ей спекла здесь в Париже знакомая дама. Извинялась, что отъела кусок.

Нашла, что я великолепно живу. Спрашивала совета — купить ей маленький авион (но в нем качает) или большой (но им трудно управлять). Я советовала все же большой. Какие нибудь десять миллионов разницы не составляют. Очень милая дама.

**
*

Во второй половине 1951 г. в связи с болезнью и связанными с лечением расходами финансовые дела Н. А. Тэффи пришли в очень тяжелое состояние. Зарабатывать писанием она уже больше не могла. Со смертью С. С. Атрана небольшая пенсия, которую ей выплачивали, прекратилась. И все состоятельные люди в Нью Йорке уже были щедро снабжены книгами Надежды Александровны с ее автографами. Нужно было придумать какой-то новый источник доходов. Мы предложили устроить «вечер Тэффи», приурочив его в 50-летию литературной деятельности.

— Имейте в виду, что печататься я начала очень рано, говорила мне Н. А., не любившая признаваться в своем возрасте.

Тэффи не сразу приняла это предложение. Ей казалось, что билеты будут расходиться туго, так как «публика не подобрела и не разбогатела», что не стоит хлопотать «из за нескольких долларов»... Но положение было отчаянным. Расчеты на покупку Чеховским издательством еще одной книги рассказов не оправдались. В. А. Александрова запросила, нет ли у Тэффи книги воспоминаний? Это было бы интересно.

«Значит, писала мне Н. А. Тэффи, рассказы не интересны. Платить, по словам Алданова, должны были по царски — хватило бы на год жизни. Очень все это беспокойно и грустно. Жаль, что моя последняя книга издателя не найдет. Рада за эмигрантскую литературу: 38 человек едят лучше меня»... И советовала от идеи вечера отказаться, — в успех его она не верила.

В октябре, «после дьявольского лечения», Тэффи почувствовала себя лучше и начала выходить:

«Несколько дней тому назад навестила Бунина. У него вид лучше, чем был на юбилее. С аппетитом поговорили о смерти. Он хочет сжигаться, а я отговаривала. Кстати — Вы очень ласково предложили помощь, если я надумаю ехать на Юг. Дорогой Вы мой друг. Вы очевидно и представить не можете, до чего я больна. Для меня даже поездка к Бунину на такси туда и обратно кончилась катастрофой, — морфий, три дня в постели. Да мне ни до какого юга просто не доехать.

Несколько дней спустя, она прислала письмо с «освобождением от вечеровой муки» («Я ведь не зверь и терзать Вас мне совсем не вкусно»). Но программа была уже составлена, продажа билетов шла превосходно и Н. А. обрадованно написала:

— Поблагодарите Надю Рейзенберг за доброе отношение. Устраивает вечер О-во «Надежда», при помощи Надежды (Нади) в пользу Надежды. Ауспиции хороши.

Во вступительном слове нельзя говорить правду, п. ч. я старая, больная и бедная. Ни-ни! Это все между нами. Можно сказать, что любопытно посмотреть, как ко мне относится американская публика. Все в плане любопытства. А потом сразу же прочесть рассказ о муках импрессарио вечера.*

Ноябрь 50 г.

Ваша система продавать билеты на благотворительные вечера конечно полна достоинства и человеческого самоуважения, но наша, парижская, хотя и гнусоватая, но приносила плоды. За билет расцененный в двести франков платили по две тысячи, при чем допытывались сколько заплатили такие-то, чтобы себя не продешевить. Вот тогда и сказал один из благотворителей, покупая билет на Пуш-

* В вечере участвовали Артисты: Н. В. Болеславская, Женни Грэй, О. Я. Давыдова, О. П. Миклашевский; в музыкальном отделении пианистка Надя Рейзенберг и скрипач Миша Мишаков и певец С. Беларский. Вступительное слово о Тэффи сказал Андрей Седых.

кинский вечер: «Я могу дать и больше, если он действительно голодает».

....

Я за весь год была два раза в гостях и до сих пор живу, как в дурмане от сильного впечатления. Все едят и все кого-то ругают. Но главное, все-таки, едят.

**
*

Мы приехали в Париж в конце декабря, видели несколько раз Н. А. и вручили ей выручку от вечера. Выглядела она плохо, но явно крепилась, старалась быть веселой и остроумной. Но, несмотря на шуточный разговор, над всеми нашими встречами лежал какой-то налет грусти, — мы оба чувствовали, что так и не успеем обо всем переговорить, и что вряд ли когда-нибудь еще увидимся... В последний раз я торопился, это было накануне отлета в Нью Йорк, оставалось сделать многое, и я сказал:

— Тэффинька, мне надо уходить... Пора!

Она растерялась и вдруг попросила:

— Ну, еще несколько минут. Ведь это — последние. Больше никогда мы в жизни не увидимся.

И больше никогда мы в жизни не увиделись. По возвращении в Нью Йорк я продолжал получать от нее письма, написанные на ужасной машинке или неразборчивым почерком, и грустны были эти последние ее письма!

Чеховское издательство выпустило, наконец, сборник рассказов Тэффи «Земная Радуга».

Без даты (1952 г.)

28 февраля вышла моя книга и Бунина тоже. Бунин нетерпелив как гимназист и выписал свою книгу по авиону. Я терпелива, как мул и жду — пусть доплывает.

....

Друг! Подложите Марку Ефимовичу огоньку под пятки — спросите намерен ли он получить мой гонорар от

Форда? Он столько лет живет в Америке, а русский дух в нем не выветрился — на письма молчит. («Ужб к Пасхе ответчу»).

Послала о Гоголе. «Не могу молчать». Начиталась всякого и все мне не нравится. Сказала свое слово, которое другие сказать постеснялись. Прочтете — увидите.

Сердечно обнимаю обоих. Нахожусь в сильной неврастении.

Ваша всегда
Тэффи.

**
*

12 марта

Дорогой Яша!

Я послала в Н. Р. Слово статью «После юбилея» Очень прошу Вас, как только она будет напечатана, пришлите мне ее par avion. Я писала в трансе, помню только кардинальную идею (оправдание типов «М. Душ») и мне очень интересно поскорее прочесть. Вы сами брат-писатель и можете понять это законное любопытство.

**
*

21 апреля 52 года Н. А. Тэффи писала:

«Ваше письмо было для меня настоящей радостью. Значит, не впустую написана книга. А то, когда «Воля Твоя» была напечатана в «Новосельи», М. написала мне, что ей очень понравились строки о медведице и жаль, что я ими не ограничилась. А ведь дело идет о самом серьезном религиозно-христианском вопросе — свободе воли. А Т. написал, что я рассказываю о какой-то полуумной женщине, которая все-таки умела по настоящему любить. Стоит после этого заниматься литературой? Но вот Ваше письмо меня утешило и сказало мне, что стоит.

Мои «Репетиторы» не юмористические, а настоящие бытовые. В сборнике только один рассказ юмористический. — «Семейная поездка».

Не могу уяснить себе смысла предисловия. Издательство боялось, что меня никто не знает и поспешило сообщить, что я дочь известного криминалиста. Но это между нами. Они там все очень милые и делают, как можно лучше. Бунин обиделся, что в объявлении о его книге напи-

сано, что в ней идет речь о тех местах, где жили знаменитые писатели, точно это придает интерес книге.

....

Получила массу поздравлений от совсем неизвестных мне лиц и даже организаций. Например, от «Правления Российского Антикоммунистического Центра в США на Тихоокеанском Побережье». Что это такое? Какие-то неизвестные три дамы прислали из Сан Франциско чек на три доллара. Какие-то тоже неизвестные прислали пару чулок, за которые таможня содрала столько, что у нас можно было бы купить две пары. Еще какие-то грозятся прислать посылку. Это самое страшное, п. ч. в этом году таможня шутить не любит, а посылают по старой памяти овес и сухие желтки и молоко в порошке. Но письма пишут такие нежные, что прямо сердце разрывается, а оно и без того больное».

**
*

Наступил 52-ой год, — последний в жизни Тэффи.

Вести от нее стали приходиться реже, ей было трудно писать, но каждое письмо попрежнему было полно дружеских чувств и теплоты.

Май 52 г.

Корабли, которые везли наши письма (это впрочем были авионы) почти-что столкнулись в воздухе и письма наши разминулись. Спасибо за Ваше, такое милое.

Теперь отвечаю на вопросы. Жаба моя в последнее время совсем обнаглела. Не дает покоя ни днем, ни ночью. Доктор вопит, что я не должна прибегать к наркотикам, а должна лечиться. А от его лекарств польза только аптекарям, а я пропадаю. По причине этой самой бешеной жабы и в газету ничего не посылала. Теперь превозмогу ее и на этих же днях изобразю что-нибудь гениальное.

Мне что-то очень грустно. Я устала. Надо все-таки работать.

Из нескольких писем, полученных весной и летом 1952 г.

На днях я поехала на вечер Рощиной. Захотелось посмотреть в последний раз свою пьесу, которую люблю.

Играли хорошо и публика... плакала! Римель тек по щекам. Я проходила мимо Зеелера, говорю: «Смотрите! Плачут!» Он отвечает: «Я и сам плачу». И убедительно высморгался. Ну, думаю, вот так юмористка!

**
*

Яша, я очень скоро умру. Исходя из этого положения я иногда думаю, что должна доставлять себе всякие приятности. А иногда думаю наоборот, что мне поэтому ничего и не надо. И, знаете, я даже рада если мне чегонибудь хочется, потому что вообще мне все противно. Простите за нытье. Но уж очень мне скверно.

16 июня 52 г. она писала:

«Благодарю за присланную вырезку о моей гениальности.

Сегодня новое чудо на ту же тему. Неожиданно расчувствовался Зеелер. Его газета всегда относилась ко мне с большой прохладой. Какой-то старичок-сотрудник лениво поругивал мои сто раз шедшие пьесы и когда его спросили почему так, отвечал: «Потому что она взяла советский паспорт и едет в Россию».

И вот на днях звонит ко мне Зеелер и говорит, что так как в Нью Йорке праздновали пятидесятилетний юбилей моей лит. работы, то они тоже хотят отметить это явление теплым словом. И сегодня в «Русской Мысли» появилась большая восторженная статья Зеелера с моим портретом и пожеланием долголетия. Вот до чего дожили. Верно скоро помру.

**
*

Теперь о главном. Ради Господа Бога купите за мой счет у Форда мою книгу (деньги возьмите из кассы Н. Р. Слова) и вклейте в нее прилагаемый листок с посвящением. Иначе я прямо начну от нервного расстройства кусаться. Вам-то это не страшно, но надо же и других пожалеть. Я не могу допустить мысли, что у моего самого хорошего друга нет от меня книги, то уж такое бунинство, что дальше и идти некуда. Очень прошу Вас. Я чувствую себя плохо и все меня расстраивает. Так уж пожалуйста не ленитесь и возьмите книгу у Форда. Да, впрочем, у Вас в газете наверное они продаются.

*

Вы спрашиваете меня, где живет моя дочь? Она живет в Лондоне и служит в польском школьном деле, которое каждый год собираются ликвидировать. Отпуск свой — две недели в году — проводит у меня и мне всегда худо и всегда она плачет. Такова моя «семейная жизнь».

*

Прочла Вашу Ниагару. Какая это страшная штука. И брызжет и шумит и топит. Совершенно не понимаю, какое удовольствие кататься в бочке, душно, ничего не видно и колотит Вас по камням насмерть. Описали Вы все это очень хорошо, но мне совсем не хочется. В бочку не тянет. И без того, как сказала когда-то Тэффи, жизнь бьет ключом по голове.

До свиданья, друг дорогой. Чувствую себя на редкость плохо. Пойду лягу.

Не забудьте моей просьбы: возьмите мой гонорар, купите на него «Земную Радугу» вклейте прилагаемое посвящение и любите меня, «как песнь пропетую весною, звенящую на утренних лугах...» (Это из Тэффи).

Дорогую Женичку целую. Дорогого Яшу обнимаю. Пойду видеть Вас обоих во сне под аркой пенящейся Ниагары.

Всегда Ваша
Тэффи

**

Из последнего письма:

Милый, дорогой мой Яша!

Давно не получала от Вас вестей. Газета приходит так редко, так неравномерно, какими-то залпами, что иногда перестаешь верить в существование Америки. Вот хочу проверить не наврал ли Колумб.

....

Все мои сверстники умирают, а я все чего-то живу. Словно сижу на приеме у дантиста, он вызывает пациентов, явно путая очереди, а мне неловко сказать и сижу, усталая и злая...

Сейчас у меня гостит дочь. У нее отпуск всего на две недели. Была масса планов, а все свелось к тому, что я лежу, а она с тоской смотрит на мое зеленое лицо. Сегодня мне лучше и я села окликнуть Вас.

Чудесной Женичке нежный поцелуй. Дорогой мой Яша, пожалуйста любите меня».

*

Ждать на приеме у дантиста, перепутавшего очереди, ей пришлось не долго.

Надежда Александровна Тэффи скончалась в 4 часа дня, 6 октября 1952 года.

ВОПРОСЫ

ЛИТЕРАТУРЫ

Бабель—стилист

1

«Новеллы Бабеля ослепительны», — говорит И. Эренбург в предисловии к книге избранных произведений писателя, вышедшей после почти двадцатилетнего о нем молчания.¹ Отзыв привожу не из склонности к авторитетным цитатам, но потому, что вряд ли сыщешь определение точнее, чем *ослепительность*, для бабелевского стиля. Это — как взрыв или фейерверк: слова, светящиеся, как маленькие жар-птицы, несутся на тебя смерчем; исследователя, который хотел бы расчленить мастерство на а-б-ц творческого приема, перед этим напором света и красок берет оторопь — как расчленить фейерверк?..

Щедрость красок соединяется с внутренней динамикой образа. Пейзаж у Бабеля никогда не статичен: вечер, горы, небо, море, звуки, свет — всё живет «в себе», напряженно до почти ощутимой вибрации:

Ночь летела ко мне на розовых лошадях. Вопль обозов заглушал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползали из прохладного брю-

¹ И. Бабель, Избранное. ГИХЛ, Москва 1957. Выдержки в моем очерке взяты из этой книги; страницы не указываются во избежание зрительной пестроты.

ха ночи, и брошенные села воспламенялись за горизонтом. («Иваны»)

Ветер дул с моря — девять баллов, как девять ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов. («Ты проморгал, капитан»).

Внутреннее движение образа в пейзаже вторит пульсу повествования, экспрессия мизансцены — экспрессии человеческого переживания.

Вечер завернул меня в живительную влагу своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу. («Мой первый гусь»)

Ночь, пронзенная отблеском канонады, выгнулась над умирающим. («Вдова»)

Структура бабелевского пейзажа лишена классической перспективы — у нее свой, бабелевский ракурс:

... за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждающие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь. («Костел в Новограде»)

Фон и передний план обычно причудливо перемежаются, средства изобразительности, я бы сказал, синхронны — в красочную мозаику природы врывается звук, мгновенная жанровая зарисовка, человеческие голоса:

Дым Костромы поднимался кверху, пробивая снега... Рыжие битюги, обвешанные инеем и паром, шумно дышали на реке, розовые молнии летали в соснах, и толпы, неведомые толпы, ползли вверх по обледенелым склонам. Зажигательный ветер дул на них с Волги, множество баб проваливалось в сугробы, но бабы шли все выше и выше и стягивались к монастырю, как осаждающие колонны. Женский хохот гремел над горой,

самоварные трубы и лохани въезжали на подъем, мальчишеские коньки стонали на поворотах. («Конец св. Ипатия»)

Так же синхронна и стремительна структура собственно жанровых описаний, часто переходящая в «монолог» персонажа:

Машины, гремевшие в поездной типографии, закрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.

— Василек, — прошептала баба тесным замирающим голосом, — уйдите с моей лежанки, баламут... («Вечер»)

Богатство бабелевской палитры и стилевых приемов делает трудными обобщающие определения, которыми привыкли пользоваться критики. Стоит, может быть, в связи с этим, привести одно обобщение из «Литературной энциклопедии» 1962 года, посвятившей Бабелю полтора столбца. «Бабель, — читаем мы там, — стремился к лаконизму и точности, сочетая в образах своих персонажей, в сюжетных коллизиях и описаниях огромный темперамент с внешним бесстрашием. Цветистый, перегруженный метафорами язык ранних рассказов сменяется в последующих строгой и вместе сдержанной повествовательной манерой (Пробуждение, Карл-Янкель, Улица Данте, Нефть)».

Здесь много неточного. Цветистость (если уж употреблять этот термин вместо более нейтрального «красочность») и метафоричность языка в более поздних новеллах Бабеля действительно идут на убыль, но лишь количественно, а не как *прием*, будто бы сменяющийся «строгой и сдержанной манерой», — яркость и метафорическое напряжение образа у позднего Бабеля те же, что и

у раннего. Вот, например, пейзаж города из рассказа «Дорога», опубликованного в 1932 году:

Невский млечным путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестящи.

Того же типа пейзаж в рассказе «Гюи де Мопассан» (1932):

В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Из рассказа «В подвале» (1931 г.):

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых сапочных пальцах.

Или, наконец, из рассказа «Улица Данте», на который в качестве доказательства ссылается составитель статьи в «Литературной энциклопедии»:

В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды зобатого, перекоченного мяса, усатые, тяжело дышащие, в бельмах и багровых пятнах... Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит...

Сомнительно и утверждение насчет «бесстрастия»: ирония — почти постоянный спутник бабелевской речевой манеры; именно ирония чаще всего определяет отношение субъекта повествования к объекту, то есть собственно *стиль*, сопровождая внутреннее движение бабелевского рассказа в жанровых описаниях, в диалоге, даже в пейзаже:

На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходит Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к нашей прачке Ирине. («Вечер»)

Ирония, едва уловимая между строк, спасает такую, например, пышность экспозиции в уже цитированном выше рассказе «Гюи де Мопассан» — вряд ли какой-либо другой «бесстрастный» художник, кроме Бабеля, мог бы себе такое позволить:

Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко. — Я пьяна, голубчик. — И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов. Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы . . .

Ослепительность новелл Бабеля — это не только лишь щедрость и свечение красок. Патетика красочности заставляет иной раз вспомнить раннего Гоголя, но структура ее всегда и непререкаемо своя. Присмотримся к композиции хотя бы такой бабелевской зарисовки, как присматриваются к картине, вывешенной на стене:

Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу: он вел ее с важностью и виселицей своих длинных костей

пересекал горячий блеск неба. «Эскадронный Трунов»)

Иными словами: экспрессия образности у Бабеля — всегда в своеобразии, неожиданности подбора и размещения красок. Вся система бабелевских *троп* проникнута этой неожиданностью, неподражаемо «своим» творческого приема. Эпитеты! Их притягательность не только в красочной меткости найденного: «Храм был полон... пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов» («В подвале»); «...на двойные подбородки были посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае» («У св. Валента»), — но и в неожиданности метафорического переосмысления слова, выступающего в функции эпитета: «Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны» (В подвале); «...мы увидели любящие икры Ирины (Вечер); «Писаря, отсыревшие от бессонницы» (У св. Валента); «Беспечная серьга колыхалась в ухе Суворцева» (Поцелуй) и т. д.

Концентрация эпитетов как живописный прием встречается довольно часто и в ранних и в поздних рассказах. В «Гюи де Мопассан», например:

Атласные эти руки текли к земле... Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробормом. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру...

Также и эпитетные *ряды*, связанные в пейзаже внутренним пафосом созерцания, в характеристиках, иногда, — иронией субъективной оценки. Например:

Попутчик мой... Прищепка — молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, неторопливый враль. («Прищепка»)

Самобытность бабелевской системы образного выражения нагляднее всего, пожалуй, раскрывается в сравнениях:

Живот его, как большой кот, лежал на луке окованный серебром. («Афонька Бида»), ... новые сапоги скрипели, как поросята в мешке. («Как это делалось в Одессе»), Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц. («Чесники»)

Она подошла к начдиву, неся грудь... шевелившуюся, как животное в мешке («История одной лошади»). Или:

Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенный коралловый ручей... («Эскадронный Трунов»).

Вот небольшой подбор стилизованных приемов метафоризации — луна, солнце, вечер:

... луна, обхватив синими руками свою круглую блещущую голову, бродяжит под окном («Переход через Збруч»),

Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. («Берестечко»),

Мглистая луна шаталась по городу, как побирушка. («Вдова»)

Умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух. («Мой первый гусь»),

Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки. («Любка Казак»),

Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре («Отец»),

Юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком («Сын рабби»)

И целое:

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей... По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На сто-

ле дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. («Солнце Италии»)

Слишком много, быть может, примеров! Но о живописи бабелевских новелл трудно рассказывать — ее надо показывать, как звуковой, в красках, фильм, в переплетенности или обособленности композиционных деталей. Одной из таких деталей, например, является *запах*, — Бабель с чрезвычайной охотой вводит запах в мозаику своих пейзажей и жанра:

Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки, там, вверху, и меня обволакивает легкий запах гления («Гедали»),

Зеленая поросль прошивала землю хитрой строкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. («Сашка Христос»),

Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу («Переход через Збруч»),

В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груди разросшегося сладко воняющего человеческого мяса. («Король»)

Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось . . . (У св. Валента).

В связи с этими последними примерами — о так называемом *натурализме* Бабея. Именно за натурализм, а также за «подчеркивание стихийного начала» в «Конармии» и за то, что не показал монолитности коллектива бойцов и роли коммунистической партии (слава Богу, что не показал!), обрушивалась в свое время на него критика во главе с Буденным (см. «Красную газету» от 26.10.1928). Мне представляется, однако, что натурализм у Бабея не был раз навсегда облюбованным «приемом для себя», каким был он иногда у некоторых из его сов-

ременников (у Б. Пильняка, например). Натуралистический гротеск в некоторых бабелевских описаниях (... «полуденное чистое солнце освещало длинный труп и рот его, набитый разломанными зубами»... «... бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца») — лишь одно из средств передачи *впечатления*, его внутреннего напряжения и вибрации, то есть нечто вполне органичное для всей системы бабелевской образной экспрессии.

Экспрессивна у Бабеля и портретность, структурная природа которой очень разнообразна — здесь и обычное для него напряжение красок, и отточенная до гротеска подробность, и развернутое описание, включающее оценку со стороны самого рассказчика. Вот примеры:

В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен; смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. («Улица Данте»),

Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. («Конец богдельни»),

Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. («Гюи де Мопассан»).

Внутренняя динамика образа сочетается часто с поразительной сжатостью слога. Ограничусь лишь одной иллюстрацией. Вот, например, Бабелю надо передать ощущение ожидания смертельного выстрела в спину. Это — собственно целый повествовательный эпизод — занимает две строчки:

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил... («Дорога»).

И последняя примета образной стилистики Бабеля из тех, которые успеваю отметить. Идет, она, вероятно, от символизма — французов, Рильке и Блока, непременно в поэтике Пастернака (тоже и в прозе, особенно ранней). Я имею в виду введение *абстрактного* в образные реалии — введение, порой неожиданное и контрастное, раздвигающие пространственность и объемность образа:

Солнце танцующими пальцами трогало корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца. («Гюи де Мопассан»),

Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. («История моей голубятни»),

Тяжелые волны у дамбы отделяли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. («Пробуждение»),

Или:

Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в мелкие клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. («Солнце Италии»).

2

Ближе — о языке Бабеля. Прежде всего языке от авторского повествования, который мы отграничиваем от речи диалогической (персонажей). Если отвлечься от образности как живописной функции слова, своеобразие бабелевского словоотбора, его речевая тональность почти всегда определяется одним и тем же «ключом» — отношением повествовательного «я» к объекту повествования. Как уже говорилось выше, отношение это у Бабеля очень часто — ирония, выраженная отчетливо или только угадываемая, как брошенный искоса взгляд, полунасмешливый-полусочувственный, как шутка, не сле-

тевшая с губ. Попробую проиллюстрировать это хотя бы таким отрывком из рассказа «Пробуждение» (1932 г.):

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингемском дворце. Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель, с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи, он населял Молдаванку и черные трупники Старого рынка призраками пиччикато и . . . кантилены . . .

Позже я попытаюсь показать, что насмешливо-ироническая тональность бабелевской манеры в какой-то мере составляет стилевую направленность целой группы (не хочу сказать «школы») некоторых современных ему прозаиков, но это — потом. Пока же интересно отметить, что сам по себе *словарь* бабелевского от-авторского повествования весьма нейтрален, т. е. не содержит ни изысков словотворчества, ни увлечения архаическими либо народными элементами речи, частыми, например, в ранней пастернаковской прозе, ни пристрастия к местному колориту, столь характерного, например, для Шолохова. Лексика и фразеология этого повествования целиком в рамках нормативного разговорно-литературного языка. Элементы просторечия редки («Мать . . . смотрела на меня с горькой жалостью, как на *калечку* . . .», «*Пешка* (пехота — Л. Р.) окопалась в трех местах от местечка»); черты типичного разговорного словоупотребления всегда функционально обусловлены, равно как и черты разговорного синтаксиса: «Отец *посулил* дать им денег на

на покупку тесу». . . ; «Все, в ком еще *квартировала* совесть, покраснели» . . . ; «Мне оставалось *исхитриться*»; «По утрам я *околачивался* в моргах и полицейских участках»; «Фамилия этому казаку была Селиверстов» и т. п. (см. также, например, заголовок одной из новелл: «Ты *проморгал*, капитан»).

Разговорно-фразеологическая подчеркнутость, там, где она встречается, часто опять-таки связана с авторской субъективной оценкой: «Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива» («История одной лошади»). Своеобразен в языке бабелевского повествования его синтаксически-стилевой строй — сжатость, динамика, ритмы . . . Повествовательная фраза, как правило, недлинна и разговорна по облику. Приведу в виде иллюстрации некоторые зачины новелл, объективно- или субъективно-повествовательные, спокойные или стремительные в смысле приема введения в фабулу:

На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. («Начальник конзапаса»),

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. («Вдова»),

Прекрасная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. («Пан Аполек»),

В субботние кануны меня томит грустная печаль воспоминаний. («Гедали»);

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. («В подвале»),

Начал я. — Реб Арье-Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бене Крике. («Как это делалось в Одессе»),

От пяти до семи гостиница наша «Hôtel Danton» поднималась в воздух от стонов любви. («Улица Данте»).

Этот тип повествовательной фразы — основной; «сплошные» отклонения редки: назову, например, мини-

атюру «Кладбище в Козине», входящую в «Конармию», почти целиком построенную из номинативных предложений и напоминающую некоторые бунинские зарисовки («Скарабей», например, или «Ущелье»), всю — в настоящем времени. Отмечу кстати вообще, так называемый «исторический презенс» как прием разговорно-повествовательной подачи, — рассказы «Начальник конзапаса» и «Вдова», из которых взяты выше первые две цитаты, более чем на треть в настоящем времени.

Но все-таки — об отклонениях. Каковы они и чем обусловлены?

Обусловлены иногда внутренней задачей образного выражения и экспрессии, красочностью и метафизичностью, которые могут нагружать фразовый строй до предела и примеры которых уже приводились выше. Также — патетикой отдельных повествовательных фрагментов, которой иногда сопутствует все та же ирония, расшифровывающая эту патетику как прием.. Вот начало рассказа «Вечер»:

О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостых сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников «Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день они могли сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья . . .

Но вот пример патетического нажима и другого характера, осложняющего фразовую структуру многочисленностью, ритмико-интонационным напряжением и повторами:

Поповская, заседательская ординарнейшая брочка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинствен-

ной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту и артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бречкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа... («Учение о тачанке»).

Слог от-авторского повествования в ранних новеллах Бабеля обнаруживает иной раз некоторую литературную «конструктивность». Вот, если обратиться к тексту из «Конармии»:

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. *На Волыни нет больше пчел.*

Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летели медленно и жужжали чуть слышно. *На Волыни нет больше пчел.* («Путь в Броды»).

Конструктивность этого типа почти исчезает в более поздних новеллах. О стремлении Бабеля тридцатых годов к простоте упоминают некоторые авторы воспоминаний. Эренбург, например, в предисловии к «Избранному»: «Он (Бабель) часто говорил, что писал прежде чересчур цветисто, что нужна бóльшая простота. По прекрасному рассказу «Нефть», — пишет Эренбург далее, — мы можем догадываться, какими бы были последующие произведения Бабеля». Пример с «Нефтью» вряд ли показателен, потому что рассказ этот представляет собою письмо женщины и, значит, слог его стилизован вокруг иного, не бабелевского, повествовательного «я». Однако в ряде других поздних рассказов («Поцелуй», например) нетрудно обнаружить черты этой утверждаемой «большой простоты»: красочность утрачивает «сквозной» свой характер, словоотбор, по крайней мере в стилях нейтрального, эпического сообщения, менее напряжен и неожиданен.

Но, может быть, с особенным блеском мастерство Бабеля-стилиста выступает в передаче диалогической речи — языка персонажей. Яркость ее инструментовки удивительна. Бабель виртуозно владеет искусством речевого портретирования героя — искусством, вообще говоря, у многих художников слова значительно отстающим от достоинств так называемой монологической речи. Бойцы и командиры «Конармии», биндюжники и прочие обыватели в «Одесских рассказах», интеллигенты и бывшие люди поздних новелл или пьесы «Мария» — говорят языком, *своим* не только по словарю, но и по внутреннему, психологическому складу и темпераменту их речевой манеры. Приемы речевой характеристики у Бабеля свежи и разнообразны: это не одно лишь вкрапливание в язык говорящего диалектных словечек, не монотонность зощенковской стилизации, — это вообще даже и не «стилизация», намеренность которой всегда более или менее ощутима, но как бы моментальная запись на пленку, находчивая и динамическая. Комплексность средств, психологическая и бытовая точность колорита в речи, например, бабелевских-конноармейцев позже встречается только разве у Шолохова — так она жива и непосредственна:

— Набили нам ряжку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы Не переводиты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные . . . Хапать нечего — поспеешь к богородице груши околачивать. (Афонька из «Смерти Долгушева»).

Богата фразеологическая орнаментация речи, ее афористичность, пословичность:

«. . . вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску . . . (Цудечкис в рассказе «Любка Казак»),

«Джентльмены, — говорил нам мистер Троттбэрн, — помяните мое слово, детей надо делать собственноручно... Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир». («Пробуждение»),
 Если у русского человека попадает хороший характер, так это действительно роскошь (мадам Криворучка в рассказе «Конец богадельни»),
 ... в ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо («Иисусов грех»),
 У кости, милая, мясо слаще (Потаповна в пьесе «Закат»),
 Делай ночь, Нехама. Спи! (Мендель, там же).

Также — и метафоричность языка персонажей; причем надо, пожалуй, отметить, что иной раз она словно бы переключивается сюда из образноречевой сферы самого автора, подобно тому, как в речь некоторых второстепенных грибоедовских персонажей проникали блестящие авторского острословия. Например:

Но мои слова отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана...

Измена ходит разувшись в нашем доме, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом доме... (из письма Никиты Балмашова, «Измена»).

Рассказ, из которого взята эта последняя цитата, целиком стилизован в форме эпистолярного сказа. Ту же форму находим в новелле «Письмо», представляющую собой смелое композиционное решение трагической темы вражды между кровными в годы гражданской войны. Письмо якобы продиктовано автору «мальчиком нашей экспедиции Курдюковым»:

... всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попалис папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и

разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеевич не кончился...

И немного повыше:

Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделает мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и без всякой одежды, так что даже холодно.

К повествованию-сказу Бабель прибегает охотно и часто. Так написаны «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионовича», «Конкин», великолепный рассказ «Соль», рассказ «Иисусов грех». Среди приемов речевого портретирования этого стиля отмечу один, который представляется мне новаторским в творческом арсенале литературы начала двадцатых годов. Я имею в виду прием намеренно контрастного свещения живых и просторечных речевых форм со стилями газетно-ораторских революционных шаблонов, — как прием речевой характеристики и раскрытия образа. Вот, например, из рассказа «Соль» (1923):

И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

Средства создания речевого портрета иногда столь же яркие, сколь и экономны. Незначительное на первый взгляд нарушение литературно-разговорной нормы — и, кажется, одна лишь выговоренная фраза уже определила облик говорящего: «Это цельный месяц я от нее вытерплю несказанно што» (Дуплищев, «Чесники»). Великолепной сочности язык Бени Крика создается именно таким легким смещением нормативной формы, в большей, пожалуй, мере, чем словоотбором:

Маня, вы не на работе... — *холоднокровнее*, Маня... («Король»).

И наконец — о бабелевском диалоге, очень частом в его новеллах и очень своеобразном по структуре. Это не щедрый диалог Хемингуэя с постепенной концентрацией психологического подтекста. Это, как правило, лишь обмен репликами, сжатый и динамический, — репликами иногда огромного внутреннего напряжения, натянутыми, как тетива:

— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали, — кончусь . . . Понятно?

— Понятно, — ответил Гришук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов. («Смерть Долгушова»).

3

Говоря о стиле писателя, естественно попытаться установить связанность этого стиля со стилевыми чертами целого литературного направления либо отдельной творческой группы современников. Речь идет не об отыскании «влияний» (задача, часто кончающаяся притягиванием за волосы различных случайностей), но — взаимовлияний, или, точнее, взаимопринадлежности. Уникальны ли, например, по своей природе, две названные выше стилеобразующие особенности бабелевского письма: 1) щедрость и патетика красок, 2) то отношение самого автора к объекту повествования — ирония, полуулыбка, реже пафос, — которое так часто определяет стилевую тональность?

Обе эти черты, как мне кажется, — южные. Бабель — одессит; Одесса дала советской литературе двадцатых-тридцатых годов целую плеяду мастеров слова — Э. Багрицкого и В. Инбер, Илью Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева. В их произведениях, особенно ранних, есть нечто несомненно единое с бабелевской поэтикой. Разумеется, щедрая до избыточности образность и метафоризация отнюдь не является, если говорить о

поэзии, исключительно «южным» явлением, но мне, например, именно у Багрицкого слышится бабелевский напор и звучание красок:

Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе — и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта . . .

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдруг разлететься
Я выберу звонкий, как бубен, кавун —
И ножиком вырежу сердце . . .
Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами . . .

.
Сквозь волны — навывлет!
Сквозь дождь — наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем на ощупь . . .
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.
Мы втянуты в дикую карусель.
И море топочет, как рынок . . . («Арбуз»).

Но оставим стихи. Вот несколько примеров из ранней прозы Веры Инбер, повести «Место под солнцем» (1928 г.). Экспрессия сравнений, вся внутренняя динамика образного выражения здесь местами совершенно бабелевские:

« . . . эвакуация окончательно созрела. На второй день на приморском бульваре из окон лучшей гостиницы летели желтые, как дыни, чемоданы и с треском лопались на мостовой . . . Добровольческие деньги, денкинские «колокольчики», звенели все тише и тише, едва слышно» . . . (стр. 223)²

² Цит. по книге Вера Инбер, Избранное. ГИХЛ. М. 1950.

«Море цвета бешеного аметиста, всё в пенных сугробах, рвущее и режущее, обрушилось на мол и пыталось сокрушить маяк. И тогда население города, ужаленное холодом, заметалось по улицам в поисках труб» (227).

И еще — о том, чем и как топилась буржуйка:

«Творения великого англичанина, как им и подобало, наполнились жаром и блеском страстей, пеплом раскалянья и пурпуром преступлений. Леди Макбет вставала в пламени, король Лир плакал в трубе. Горящий кусок буфета бушевал, как мавр в огненном плаще» . . . (229)

В последнем отрывке уже не только красочность, но и шутливо-ироническая тональность бабелевского стиля. Она же напоминает Бабеля и в ранней катаевской прозе. Вот отрывок из рассказа Катаева «Ножи» (1926 г.). Проследим за тем авторским взглядом «со стороны», которым сопровождается повествование о Пашке, «слесаре по шестому разряду плюс нагрузка»:

— «Интересно, сука, брешет, — сказал Пашка, подмигнул и, захохотав, отправился дальше.

По дороге он изведаль по очереди все наслаждения, какие предлагала ему жизнь: сначала взвесился на шатких весах — вышло четыре пуда пятнадцать фунтов; через некоторое время, присев от натуги на корточки, попробовал силу и дождал дрожащую стрелку силометра до «сильного мужчины»; погуляв еще немного, испытал нервы электричеством — взялся руками за медные палочки, по суставам брызнули и застреляли мурашки, суставы наполнились зельтерской водой, ладони прилипли к меди — однако, нервы оказались крепкими . . .»³

³ Цит. по книге «Юмор и сатира». ГИХЛ, Москва 1957, стр. 272-273.

Сравним этот отрывок — опять-таки исключительно в части тональности, создаваемой критическим «прищуром» автора, — с бабелевским повествованием о казаке, у которого рассказчик испортил лошадь, по случайности — тоже Пашке:

«Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты за ним волочились, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи были поставлены наши кони... волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргмак вытянул шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно. — Знатьця так, произнес казак едва слышно»... («Аргмак»).

Также и в творческих стилях Ильфа-Петрова находим «южную» бурность красок и, конечно же, прежде всего, иронию — у них она всегда акцентирована, образует местами яркий гротеск и в целом — свою, оригинальную, композиционно-речевую систему сатиры. Но стилевой «ключ» повествования, его колорит, некоторые приметы словоотбора — все это где-то совсем неподалеку от Бабеля, и великолепный Остап Бендер стилистически состоит в несомненном свойстве с Бене́й Криком. Иллюстраций, за их всем известностью, приведу лишь одну, из «Золотого тельца»:

«Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбацкой брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета... На дверях столовой «Бывший

друг желудка» висел большой замок, покрытый не то ржавчиной, не то гречневой кашей. — Конечно, — с горечью сказал Остап, — по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда.

Повторяю еще раз: я не устанавливаю *влиятий*, ни, тем менее, заимствований, но лишь стилевую *общность* некоего литературного направления. В этой связи надо назвать также и К. Паустовского. Паустовский, как он рассказывает в своей автобиографии, а позднее — в автобиографической повести «Бросок на юг», некоторое время работал в Одессе, в газете «Моряк», среди сотрудников которой были Катаев, Ильф, Багрицкий, Шенгели, Лев Славин, Бабель, Андрей Соболев, Юшкевич. С Бабелем были у него дружеские отношения. Нельзя не обратить внимания на некоторые черты стилевого сходства у обоих писателей. Вот примеры из «Броска на юг», впервые напечатанного в журнале «Октябрь» № 10 за 1960 г.

... «на город начал надвигаться норд-ост. Появился первый признак этого бесноватого ветра: по горам потянулось облако, похожее на жгут грязной ваты. Сами же горы напоминали мертвых верблюдов с выпершими из-под пыльной шкуры ребрами». (стр. 7).

Или:

«Кроме курносого, с нами ехала волоокая тучная девица в тугом черном платье. На каждом ухабе это платье издавало зловещий треск. При этом девица каждый раз испуганно вскрикивала «Уй-мэ!» и натягивала платье на коленные чашки величиной со средние желтые тыквы» (стр. 21).

В той же повести рассказывается между прочим о встрече с Бабелем на Новом Афоне, передается разговор с ним, а за разговором следует описание, словно бы продолжающее характерный слог Бабеля. Привожу этот отрывок также и как яркую страничку воспоминаний о писателе:

— «Апофеоз женщины! — неожиданно сказал Бабель, — пошлое слово — «апофеоз», но если бы у меня хватило остроты нервов, я написал бы такую вещь для прославления женщины, что Черное море от Нового Афона и до самых Очемчир покрылось бы розовой пеной. И из нее вышла бы вторая русская Афродита. А мы с вами — глупые, нищие, пыльные, изъеденные проказой цивилизации — встретили бы ее приход слезами. И испытали бы счастье прикоснуться с благоговением даже к холодному маленькому ногтю на ее ноге. К холодному маленькому ногтю.

— Бред! — сказал я Бабелю. — Вы же еще не пили маджарки.

— Конечно, бред! — ответил он и распахнул окно. — Идите-ка лучше сюда!

С треснувшей рамы посыпались засохшие мухи и ночные бабочки.

... И тотчас в окно вошел величавый голос моря, порожденный тысячами набегающих волн. Они как будто колыхали золотой жар заходящего солнца. Они несли сохранившиеся среди этих необъятных вод в течение столетий запахи мрамора и олив, горных склонов с высохшей до пепла травой, островов, где шелестят крупными листьями смоковницы, и просыхающей парусины». (стр. 25).

Стиль некоторых жанровых эпизодов у Паустовского с острым, локальной окраски диалогом, относящихся (не по времени написания, но по времени действия), примерно, к периоду «Конармии», чрезвычайно

близок бабелевскому. Вот отрывок их повести «Начало неведомого века»:

— «Эй вы, пентюхи! — крикнула Люсьена ксендзам. — Подайте же руку женщине. Вы же видите, что я сама не влезу.

Ксендзы вскочили и, толкаясь, устремились к двери. Они были смущены своей оплошностью и общими силами втащили Люсьену в вагон.

— Фу-у, — вздохнула она и осмотрела теплушку. — У вас тут, оказывается, не очень стильная обстановка.

Ксендзы смущенно молчали.

— Ладно, аббаты! — сказала Люсьена, кончив осмотр теплушки, и потянула сплошь заштопанный шелковый чулок. — Беру тот темный угол на нарах. Чтобы вы не подумали, будто я покушаюсь на вашу девственность. Кстати, нужна она вам, как мертвому припарки.

Один из ксендзов радостно хихикнул, а Виктор Хват развязно сказал:

— Я убежден, что при вашем содействии, дорогая, мы пропадем. Но зато с весельем и треском.

— Заткнись, пискун, — ответила наигранным басом Люсьена. — Или я не одесситка и не видела фрайеров почище, чем вы?»⁴

Хоть я и зарекся от разбора «влияний», но, все же, разве приведенные выше отрывки не дают основания говорить, именно о влиянии (в данном случае влиянии «южных», в частности бабелевских, стилей на Паустовского)? В конце концов, как пишет автор упоминавшейся выше статьи в «Литературной энциклопедии»: «Выдающееся изобразительное мастерство Б(абеля) определило место писателя среди зачинателей советской литературы и роль в формировании ее стиля». В связи с

⁴ К. Паустовский. Начало неведомого века. Сов. писатель. М. 1958, стр. 180-181.

«зачинателями» и их ролью — последний сопоставительный экскурс. Я называл уже один из частых у Бабеля приемов создания речевого портрета — прием намеренно контрастного смещения просторечия и газетно-революционных шаблонов. Интересно отметить, как широко использовал этот прием Шолохов в языковой характеристике своих героев. Особенно, пожалуй, в «Поднятой целине», первая книга которой вышла в 1932 году. Вот язык Нагульнова:

«Не снимая пальца со спуска нагана, Нагульнов раздельно диктовал:

... хотя я и есть контра скрытая, но советской власти, которая дорогая всем трудящимся и добытая большой кровью трудового народа, я вредить не буду ни устно, ни письменно, ни делами. Не буду ее обругивать и досаждать ей, а буду терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас — ее врагов мирового масштабу — подведет под точку замерзания. А еще обязываюсь не ложиться поперек пути советской власти и не скрывать посев и завтра, 3 марта 1930 года, отвезть в общественный амбар» ...

Кончу мотивом, с которого начал, — о трудности стилистического анализа. Она несомненно сказалась и в этой работе: кое-что затронуто лишь отчасти, кое-что вовсе опущено. Очерк мой, впрочем, и не предназначен быть руководством для изучения. Да и мыслимо ли вообще исчерпывающее, без остатка, изучение стиля большого писателя, расчленение *мастерства*? Что-то непременно останется за скобками, за найденными а-б-ц творческого приема. И это «что-то» будет, вероятно, искусством, неподражаемо «своим» каждого художника, — можно пытаться его разгадать, но нельзя выложить, как зерно, на ладонь для наглядности и «общего пользования»: оно не раскрывается до конца и неповторимо.

Однострочки

1. ЧИТАЯ, СЛУШАЯ, СМОТРЯ

На выставке Моне

Стога, Руанские соборы и лилии и тополя . . .

Слушая «Руслана»

О душенька, о флейта, о Людмила.

Поэт и друг поэтов Дельвиг.

Слушая «Дон Жуана»

Donna Anna,
you frigid witch!

На самолете

1.

Абстрактный мир: все линии да плоскости.

2.

Мальчишку провели в сортир.

3.

Здравствуй, смерть.

Тоже слушая «Руслана»

Сестра Памяны Горислава.

Перед картиной Бонгарта

О лодка синяя, ты в море, ты не здесь!

2. МИНУТЫ

Наверно так у всех, всегда и всюду.

О Боже, я разбит, составь меня опять.

Березы. Ветер. Думая о смерти

Тот блеск пугающий, тот шорох неземной . . .

А жизнь течет и без тебя.

Молитва

Спаси ее, прости меня.

Солнечный день, в траве

Ты здесь? Ты рядом? Ты со мной?

Мне в тягость собственное тело.

Печаль слетает с ласковых стволов.

Все чаще я слышу смерть.

3. РАЗНОЕ

РОМАНЫ В ОДНУ СТРОКУ

1.

Обрывки человеческих созданий . . .

2.

Роман в народном духе

Груша с Гришей согрешили.

3.

И начал он стареть,
стареть, стареть, стареть . . .

4.

Учитель учил учеников.

Творчество

Уплата долга иль борьба с собой?

Страдать бы, петь бы, людям помогать бы . . .

Скрывай, что ты поэт.

О зеркало, о шкаф, о радиоприемник на столе!

Подражание латинскому

Варвар Варваре во рву вервену варварски вырвал.

Вакхический призыв к Жанне д'Арк (на гласных)

Эван эвоз о Иоанна!

Свобода милая, куда ты поведешь?

Поправки к классикам

К Пушкину:

Что в вымени тебе моем?

К Плещееву:

Назад без страха и сомненья!

К Тютчеву:

Самоубийство, не любовь

(вариант: Самоубийство — не любовь)

ТРАКТАТ ОБ ОДНОСТРОКЕ

*Осмый стих есть не стих, но токмо
строчка.*

Тредиаковский

§ 1. *Определение etc.* «Одностроком» называется стихотворение в одну строку. Можно назвать и «одноштишием»: звучит глаже и академичнее. Как термин годится и «моностих».

§ 2. *Скандал с Брюсовым.* В русской поэзии одностроки были. Обычно знают брюсовский («О закрой свои бледные ноги»), который скандализировал критиков и читателей в 1895 г. В. Ходасевич так писал об этом потом: «... критики взвыли от негодования. «Декадент», «упадочник», «выродок» и тому подобные эпитеты посыпались на голову несчастного автора. Возмущались не столько содержанием стиха, сколько самую мыслью написать целое стихотворение в одну всего строчку. Вопили об издевательствах над поэзией, над читателями, о попрании лучших заветов русской литературы и т. д.»

Иногда утверждают, что брюсовский однострок результат случая, что цензура вычеркнула, найдя их кощунственными, все строчки стихотворения, кроме этой одной, и ее напечатание есть со стороны поэта что-то вроде «ах так». Все это вряд ли верно. В архиве Брюсова сохранилось несколько вариантов этого однострока. Приблизительно в то же время им было написано еще

семь других (см. Антологию). Позже Брюсов перевел моностих позднего латинского поэта Авзония и поместил его в своих «Опытах» (1918).

§ 3. *Прецеденты.* «Одностишие Брюсова было в русской поэзии не первое, а третье», правильно замечает тот же Ходасевич. Первым был Карамзин, написавший в 1792 г. по просьбе знакомой дамы пять вариантов эпитафии ее скончавшейся дочке. Пятый из них имеет форму однострока. После Карамзина подобную эпитафию написал сам Державин (1800). В изданиях Грота и Гукковского она с основанием печатается среди стихов.

§ 4. *Век девятнадцатый.* Девятнадцатый век такими пустяками не занимался, если не считать пятнадцати античных моностихов и однострочных фрагментов, переведенных Меем. (Впрочем, строго говоря и брюсовское стихотворение написано в девятнадцатом столетии).

§ 5. *Двадцатый век.* Ходасевич в своем обзоре не упоминает ни одного однострока нашего века, хотя к тому времени, когда он писал свою статью, большая часть их была уже напечатана. Одностроки писали Константин Бальмонт, Самуил Вермель, Давид Бурлюк, Василиск Гнедов, Евгений Шиллинг, Василий Каменский, Даниил Хармс, Александр Гатов, т. е., главным образом, футуристы или поэты, близкие к футуризму.

§ 6. *Однострок за пределами русской поэзии.* В классической древности однострок был законной и сравнительно широко распространенной поэтической формой. «Греческая антология» насчитывает их больше пятидесяти. Это надписи на зданиях и вазах, эпитафии, эпиграммы в широком и узком смысле, религиозные стихи (среди авторов — Св. Григорий Богослов), перечисления, предсказания оракулов, строки, содержащие все буквы алфавита, насмешки над жителями какой-нибудь местности, шарады и арифметические задачи. Почти все они анонимны, но иногда между авторами встречаешь такие имена как Еврипид или император Адриан.

По-латыни однострокров написано еще больше, во всяком случае больше сотни, но чуть ли не все они как-то повторяют греческие. Из больших поэтов их писали Вергилий и Марциал. Число можно во много раз увеличить, если прибавить сборник изречений из пьес Публилия Сирийца, составленный в 1 веке после Р.Х. Их больше семисот, и все они написаны так называемым ямбическим триметром или сенарием. Однако одностроками сделал их составитель сборника, живший уже после автора.

Именно этому, классическому одностроку подражали (а то и просто переводили его) в восемнадцатом начале девятнадцатого века немцы Рамлер, Хауг и Фосс. Стихотворение последнего,

Schreibend schreibt er im Schreiben geschriebene
Schriften, der Schreiber,

видимо, навеяно следующим моностихом из *Carmina epigraphica*:

Barbara barbaribus barbarant barbara barbis.

(Варваризован брадой варварской варварски варвар).

Еще раньше можно встретить одностроки европейских поэтов, написанные по-латыни. Наверное есть они у поляков. Англичанин Томас Кэмптон написал следующий моностих:

In Pandarum

Scrotum tumescit Pandaro; tremat scortum.

Девятнадцатый век, как и в России, одностроком почти не интересовался. Однако какие-то подступы к новому, уже неклассическому моностиху можно заметить. Например, у Бодлера в *Le Voyage* полстроки — *Et puis, et puis encore?* — напечатано как отдельная строфа. У Верлена строка *Pauvre âme, c'est cela* подана как последняя часть цикла стихотворений «*Sagesse*».

В двадцатом веке, опять-таки как в России, интерес к однострочному стихотворению оживляется. Од-

ностроки можно найти у Макса Жакоба, Гийома Аполлинера, Рене Шара, Гембретьера, Антонио Мачадо, Джузеппе Унгаретти, Джойс Хопкинз. Следует особо выделить малоизвестного французского поэта по имени Эммануэль Лошак, родившегося в 1886 г. в Киеве. Он выпустил в 1936 г. целую книгу однострочков под названием «Monostiches». Мне также передавали, что у румынского поэта Иона Пиллата есть книга одностиший под названием «Poeme intr'un vers».

§ 7. *Четыре традиции.* Итак, однострок не трюк и даже не эксперимент, а прочная поэтическая традиция, развертывавшаяся, по меньшей мере, в четырех направлениях. Прежде всего, это греко-римская эпитафия-эпиграмма (в России — Карамзин, Державин, частично Брюсов). Другой путь — пересаживание на европейскую почву ориентальных или иных экзотических форм (Вермель, однострок которого получился не без влияния японской танки). Для двадцатого века особенно характерен романтический фрагмент, осложненный импрессионизмом (Бальмонт, Унгаретти). Наконец, возможен однострок, развившийся из пословицы (Мачадо), и странно, что именно на русской почве этого не произошло.

§ 8. *Соседние области.* В прозе одностроку как-то соответствует афоризм, жанр исследованный и не раз процветавший (Ла Рошфуко, Лихтенберг, у русских Козьма Прутков и несправедливо забытый Григорий Ландау с его удивительными «Эпиграфами»). Этому не противоречит, что бывает афористический однострок, — ведь существует «прозаическая» поэзия, роман в стихах и т. п. Выходя за пределы литературы в фольклор, находим аналог одностроку в народных пословицах, большинство которых по природе своей — стих.

§ 9. *Неопознанные одностроки.* В пограничных областях литературы много незамеченных однострочков, особенно среди политических лозунгов и коммерческой рек-

ламы. Примеры: I like Ike; I'm madly with Adlai; Nation needs Nixon; Räder müssen rollen für den Sieg; Жить стало лучше, жить стало веселей; We sell for less; Nothing but nylon makes you feel so female. Можно и не доказывать, что все это стих.

§ 10. *Обломок как однострок.* Наше сознание воспринимает как однострок случайно дошедшие до нас обрывки из древних поэтов, — даже если мы знаем, что это только частички утраченного целого, причем гораздо меньшие, нежели Бельведерский торс или Ника Самофракийская. На русский язык такие фрагменты из Сафо и других античных поэтов переводили Вячеслав Иванов и Вересаев.

§ 11. *Одностроки и просто строки.* В полном собрании сочинений, скажем, Ломоносова, наряду с законченными стихотворениями, встречаются отдельные строчки, обычно примеры для обеих «Риторик» и «Письма о правилах российского стихотворства». Некоторые из них так и остаются строчками, иные выглядят законченными стихотворениями. «Твой лавр достоин вечных хвал» (VIII, 125) это ода-однострок; здесь нечего прибавить, можно лишь развивать. Следующие две строки (обе из VIII, 32) для Ломоносова были просто метрическими примерами, однако, независимо от намерения поэта, они обладают законченностью и динамикой как образа, так и звука, т. е. каждая представляет собой отдельное стихотворение:

Вьется кругами змия по траве,
обновившись в расселине

и Цветы, румянец умножайте.

Загадочная строка, оставленная на листке с какими-то научными заметками, «В водах игранье чуд морских» (VIII, 675), тоже бессознательный однострок. Считают, что это черновой набросок к поэме «Петр Великий», но если воспринять строку как законченное целое, — насколько глубже, чище и сильнее впечатление.

В однострочных набросках Пушкина получается такая же картина: одни ощущаются как одностроки, другие нет. Пример первого: «Улыбка уст, улыбка взоров», пример второго: «Но вы во мне почтили годы».

§ 12. *Стыдливые одностроки.* Каждый может привести пример поражающей, волшебной, запомнившейся строки из стихотворения, которое целиком могло в памяти и не сохраниться. Почему запомнилась именно эта строка? Часто потому, что она стихотворение; остальное присочинено, чтобы *выглядело* как стихотворение. Даже Хлебников вязнул в этой инерции-традиции во что бы то ни стало развивать, распространять, прибавлять. Именно у него это иногда особенно заметно. Наваянная Пушкиным строка «Русь, ты вся — поцелуй на морозе!» — первая в стихотворении. На ней надо было и кончить. Другое начало, «Песенка — лесенка в сердце другое» — настоящий однострок, да еще редкого, пословичного качества. Все что Хлебников к нему добавил — неинтересное бормотанье. Много таких нереализованных однострочков и у других поэтов. Мандельштамовское «Я научился вам, блаженные слова» не требует продолжения. Можно составить целую антологию строк, которые могут обойтись без остального стихотворения. В нее войдут, например:

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
(Державин)

(именно эту строчку Пушкин выхватил на эпитаф к «Осени», а идеальный эпитаф — однострок),

А море Черное шумит не умолкая (Лермонтов),

Мерещится мне всюду драма (Некрасов),

а катуловскому *Odi et amo* не нужно не только остальное стихотворение, но и окончание строки.

§ 13. *Возможности.* Возможности однострока чрезвычайно широки. В него можно заключить, сжав до преде-

ла, большую мысль или длинную историю. Уже говорилось об однострочке-афоризме, но возможен и однострочный роман. Такова полюбившаяся Флоберу расиновская строка:

La fille de Minos et de Pasiphaé

Но однострок способен делать и прямопротивоположное: фиксировать миг, ловить впечатление или проскользнувшую мысль. Можно в нем и бросить мысль незаконченной или остановить внимание на детали, из которой читающий встречным усилием воображения построит целое или воссоздаст атмосферу. Концентрат, мельк и намек — три основные (но не единственные) способа применения однострока.

§ 14. *О заглавии.* Подчас однострок усиливает роль заглавия. Есть поэты, с особенной настойчивостью озаглавливающие чуть ли не все стихи (Бунин), есть такие, у которых заглавий почти нет (Георгий Иванов). У однострока, как и у абстрактного полотна, заглавие может играть решающую роль; оно даже может быть длиннее самого стихотворения. Однострок — дорога к искусству заглавия, подобно тому как было искусство эпитафии в начале девятнадцатого столетия.

§ 15. *Немного метрич.* Могут заметить, что однострок метрически амбигуозен, потому что «не бывает стихов вне стихотворений» (Томашевский) и только из соседних строк-стихов будто бы проясняется просодическая структура данного стиха. Однако примеры строк, где действительно нельзя установить метрической картины без окружения (тютчевское «И демоны глухонемые») настолько редки, что это возражение большого практического значения не имеет. Вернее сказать: не бывает стихов вне стиховой традиции. Ведь ямбическая, скажем, строка ощущается как ямбическая не только на фоне других напечатанных, но и воображаемых. Скажу больше, в книжке стихов-однострочков строка, не подходящая ни под один из известных размеров или типов, будет ощущаться как однострочный верлибр.

§ 16. *Амбивертальные возможности.* Сделав один шаг в сторону расширения, мы получаем «двустрок», каких в поэзии великое множество: от «билетцев» Сумарокова до элегических двустиший Вячеслава Иванова, от дистихов Катона Старшего до аварских надписей советского поэта Расула Гамзатова, от эпиграмм Марциала до мистических изречений Ангелуса Силезиуса. На мой взгляд, самый замечательный из них сочинен Унгаретти:

MATTINA

M'illumino

D'immenso

Шагнув в обратном направлении, задумываешься о возможности «однослова». Близки такому жанру «голые рифмы». Вот попытки стихотворений из одних рифм:

КРИЗИС

неопределенное
непреодоленное

ГИБЕЛЬ ИДЕАЛА

долженствующее
существующее

ПУШКИНСКИЙ ПЕРИОД

цезура
цензура

РЕНЕССАНС

о тело!
о cielo!

РУССКИЙ РОМАН

пóдлиннее
подлиннее

В такие голые рифмы можно зачислить знаменитый пушкинский эпиграф *o rus*: *О Русь*; можно их найти в поговорах (Старость не радость) и детских дразнилках (Вовка-морковка, жадина-говядина). В нереализованном виде голую рифму можно наблюдать в поэзии 18 века, когда не один поэт рифмовал *россов*: *Ломоносов*; и разве не выражено существо державинской мумы в одной рифме *Потемкин: потомки?*

«Однослова» мне в русской поэзии не удалось пока найти, но «однобукв» сочинен эго-футуристом Василис-

ком Гнедовым под названием «Поюй»; он состоит из буквы «у», после которой следует тире. Таковы пределы краткости, а где пределы длины: что длиннее, херасковский «Владимир», «Дневник» Оцупа или «У попа была собака»?

§ 17. *Белая страница.* Мы подошли вплотную к поэтическому молчанию, о котором говорили Тютчев, Малларме и Иван Игнатъев. Осуществил подобного рода поэтический «ноль» тот же Василиск Гнедов, оставивший чистую страницу после названия «Пепелье Душу» в одном из своих сборников. Он же выступал со сцены с «Поэмой молчания», т. е. напряженно молчал перед залом в течение двух-трех минут, за что благодарная публика неизменно награждала его восторженными аплодисментами.

§ 18. *Pro domo sua.* Мои одностроки сочинялись не в подтверждение правил и не для «открывания новых путей». Трактат был написан после того, как они уже перестали приходить. Первый пришел на выставке картин Клода Моне. Уже потом я узнал, что многие греческие моностихи построены на перечислении. Также впоследствии заметил, что этот однострок распадается на два полустихия (если не строки), но есть законченность в расположении гласных. Просмотрев покрывшиеся паутиной стиховые наброски, на которые уже махнул рукой, заметил теперь, что некоторые из них — одностроки.

Знакомые реагировали по-разному: одни с равнодушным недоумением, другие с умеренной заинтересованностью. Кое-какие одностроки даже нравились тому или этому, но ни один не нравился всем или большинству, так что демократическим путем так и не удалось установить, получилось ли что-нибудь. Впрочем, мне упрямо сдается, что три-четыре все-таки вышли и, во всяком случае, не намного хуже знаменитых. Да и вообще, откровенно говоря, трактат — не пародия, а одностроки не игра полупоэта-полуученого, как я пробовал себя убедить вначале. И их двухтысячелетний возраст и

то, что они стоят в преддверии белой страницы, — их, так сказать, «антесиленциальность», — заставляет задуматься, даже если уверен, что они не нужны «нашему времени когда».

Не все они целиком доходчивы. Один из них, например, вышел так. Слушая в который раз глинкинского «Руслана», мою любимую русскую оперу, я заметил, что флейта — инструмент-героиня. Она не только появляется традиционной соседкой колоратуре Людмилы, но и начинает звучать в ключевых местах, причем иногда загадочно (сцена похищения). Многое стало ясно, когда пришло в голову, что это душа Людмилы, живущая своей, особой жизнью. Впрочем, не душа, а «душенька», как согласится всякий, кто знаком с двоюродной теткой Людмилы пера Ипполита Богдановича.

Библиография по одностроку

В. Ходасевич. «Мелочи», *Возрождение* (Париж), 13 августа 1933 г.

И. Поступальский. Комментарии к В. Брюсов, *Избранные стихотворения*, «Academia», 1933, стр. 665.

Академия Наук СССР, *IV Международный Съезд Славистов. Материалы. Дискуссии* т. 1, Москва, 1962, стр. 622.

Илья Сельвинский. *Студия стиха*, М. 1962, стр. 113-114.

АНТОЛОГИЯ ОДНОСТРОКОВ

(представлены все имеющиеся у меня русские, но только небольшая часть собранных мною нерусских)

ГРЕЦИЯ

Надпись на вазе

Экзекий вылепил и расписал меня.

Менандр

Коринфянину верь, но другом не считай.
(пер. Ю. Шульц)

*аноним***О Божьей Матери**

Дева дитя родила и все же девой осталась.

аноним

Стрелы, лук и копье, меч со щитом и со шлемом.

*аноним***Кровать гетеры из лаврового дерева**

Ложа бежав одного, ложе теперь ты для многих.
(намек на миф о Дафне и Аполлоне)

РИМ*Вергилий*

Правит небом Юпитер, а Цезарь всю землю.

*аноним***Надгробная надпись**

Вдоволь пил я при жизни, пейте ж и вы, о потомки!

Марциал

Ты бедняком притворяешься, Цинна. И вправду
бедняк ты.

Авзоний

Рим золотой, обитель богов, меж градами
первый.
(пер. В. Брюсов)

ГЕРМАНИЯ

Иоганн Крестов Фридрих Хаут.

К Лине

Лина, ты правда сама, а правду, ты знаешь, люблю я.

ФРАНЦИЯ

Гийом Аполлинер

Поющий

И несравненный шнур из медных труб морских.

Рене Шар

Рука Ласандера

Миров красноречья и след простыл.

(Ласандер — знаменитый убийца 19 века)

Эммануэль Лошак

Подчас строка в стихах поет, как птица в клетке.

Чуть-чуть сместился лист — и вижу Бетельгейзе.

Веди меня, а нет — так следуй, Ариадна.

«Вот тут, мсье, двигались тележки к эшафоту».

Камин. Дождь моросит. И слезы Сандрильоны.

ИСПАНИЯ

Антонио Мачадо

Ведь сегодня вечно длится

ИТАЛИЯ

Джузеппе Унгаретти

Я слышу голубя иных потоков.

РОССИЯ

Н. М. Карамзин

Покойся, милый прах, до радостного утра!

Г. Р. Державин

На гробницу Суворова в Невском
Здесь лежит Суворов.

В. Я. Брюсов

О, закрой свои бледные ноги!

Я прекрасна, о смертный! Как греза камней!

Никогда не смеюсь, никогда я не плачу.

Я знаю искусство, страданья забыв.

На пике скалы у небес я засну утомленно.

И никого и ничего в ответ.

Твои глаза простят мои мечты.

Воскреснувшей страсти безумные очи.

А. А. Блок

Тайно себя уничтожить.

(см. Записная книжка Блока, 15 марта 1911: Самые тайные мысли: «тайно себя уничтожить» (это строка). При всем том, что я здоров, свеж, крепок. Вино — нет, ничего)

С. М. Вермель

И кожей одной и то ты единственная

К. Д. Бальмонт

Паутинки

1.

Всевыразительность есть ключ миров и тайн.

2.

Любовь огонь, и кровь огонь, и жизнь огонь,
мы огненны.

Василиск Гнедов

Грохлит

Сереброй Нить — Коромысля. Брови.

Евгений Шиллинг

Лучше б он был нищим.

(последний из 15-ти *Humoresques*
в сборнике Пета, М. 1916).

В. В. Каменский

Золотороссыпьювиночь

Золотороссыпьювиночь

Рекачкачайка

Рекачкачайка.

Стекцир айоц футуризм.

(неточная передача армянской фразы, в переводе: твори армянский футуризм. Обращено к поэту Кара Дэрвиш)

Даниил Хармс

За дам по задам задам.

Д. Д. Бурлюк

Изре

Большая честь родиться бедняком.

Александр Гатов

Повесть

Он в зеркало смотрел, как в уголовный кодекс.

Об одной неудавшейся поэзии

Поэтам часто верят на слово. Поверили и Маяковскому, будто он, в самом деле, «воспевал машину и Англию». В реквизите его дореволюционных стихов можно обнаружить фонари, трубы, крыши, городские площади, телефонные провода, комоды, кровати, рояли, канделябры — весь вещный антураж бытовых романов, но там нет машины. Ее нет и у итальянских футуристов. Знаменитые плуги-автомобили, мчавшиеся в поля перекапывать и орошать землю, поезда-сеялки, разъезжающие по равнинам для бешеных посевов, водятся не в поэмах и романах, а в манифестах Маринетти. Их декларировали, как условие поэзии, но из них не делали поэзии. Дальше метафорических образов, вроде сравнения Италии с дредноутом, окруженным эскадрой островов-миноносцев или объявления себя аэропланом — не шли. Да и декларации были, скорей политическими, чем литературными; в них больше тоски по фашизму, чем служения новой эстетике.

Маринетти удалась колониальная и военная поэзия, но совсем не удалась индустриальная. У русских же его собратьев не оказалось и колониалистов. Единственный

колониалист обнаружился в лице Гумилева, но он был из другого лагеря. Он же, подобно Маринетти, порвал с некрасовско-толстовской нотой «ужасов войны» и славил ее «величавое дело». Никто, однако, не пел «машину и Англию». Меньше всех Маяковский.

Машинная тема отстояла от него так же далеко, как сам он от человека-мотора с атрофированными моральными страданиями, добротой, любовью, нежностью, привязанностью. Он — весь боль, надрыв, сострадание, он не от Ницше, а от Достоевского, и если платил дань маринеттиевским лозунгам, то только потому, что записался в футуристы. Полагалось, время от времени, прокричать что-то о «поросших шерстью красавцах-самцах», о железном, огненном боге. Но, вместе с западными футуристами, он распял «железного», как Христа, на Голгофе утилитаризма. Никто в него не верил. Маринетти собственной рукой сорвал нимб с прокламированной им машинной эры, поставив выше всех богов золотого тельца — Италию. «Слово «Италия» должно сиять ярче слова «Свобода». Изменив поэзии во имя национальной промышленности, он и машину лишил благодати духа, превратив в «орудие производства». Удивительно ли, что от его поездов-сеялок несет пошлостью социально-утопических романов. Вот, например: «Посредством сети металлических канатов сила морей поднимается до гребня гор и концентрируется в огромных клетках из железа, грозных аккумуляторах, грозных нервных центрах распределенных по спинному и горному хребту Италии. Энергия отдаленных ветров и волнений моря, превращенная человеком во многие миллионы килоуатт, распространяется всюду, регулируемая клавишами, играющими под пальцами инженеров. У людей стальная мебель, они могут писать в никелевых книгах толщина которых не превосходит трех сантиметров, которые стоят восемь франков и, тем не менее, содержат сто тысяч страниц... Голод и нужда исчезли, горький социальный вопрос исчез»...

Чем этот план итальянской элетрофикации поэтичнее планов советских пятилеток? И не вызывают ли эти строчки знакомого отвращения, испытанного при чтении «Что делать?», с его алюминиевыми дворцами и алюминиевой мебелью? Мы абсолютно не способны переживать в эстетическом плане «величия интенсивно-земледельческой, промышленной и торговой Италии». Это тем более, что мы пережили «интенсивно-промышленную» Россию, в первые годы «пролетарской» революции. Именно тогда пролетариата и не было у нас. Он и до революции представлял ничтожную горсточку, а тут окончательно разбежался по деревням, ушел на войну, в комиссарство, в бюрократию. Но ни до, ни после не наблюдалось такого культа мускулистой фигуры рабочего, и никогда не было такого иступленного воспевания фабрик и машин. Фабрики стояли и разрушались, но площади столиц увешивались гигантскими макетами и полотнищами с изображением дымящих труб. Зубчатая шестерня, вместе с молотом, сделалась мотивом всех плакатов и газетных рисунков.

Надо ли говорить, что этот индустриальный молебен служился во искупление социалистического переворота, совершенного в технически отсталой стране? Все сколько нибудь крупные мастера, сотрудничавшие тогда с советской властью, обошли индустриальную тему. Татлин и Альтман были абстрактны, Чехонин, расписывавший денежные знаки, почтовые марки, гербы и журнальные обложки, сумел внести в них вакханалию завитков, фантастических букетов и капризно-игривых линий в духе Обри Бердслея. Машинные мотивы выпали на долю ремесленников, а не художников. Так было и в поэзии. Стальные мускулы, крутящиеся ремни и колеса воспевались стихоплетами, чьи имена давно забыты и вряд ли воскреснут. То была страница политики, а не искусства.

И все-таки, неужели так, зря, брякнул Маяковский про машину и Англию? С какой ему стати, вдруг, Анг-

лия подвернулась? Неужели только для рифмы с «евангелием»? Такому жонглеру, как он, ничего не стоило с любой рифмой справиться; мог назвать и Америку, которой Англия уступила тогда корону индустрии. Для Блока, машинный Вифлием находился уже по ту сторону океана; новую, промышленную Россию он сравнивал с Америкой. С большим запозданием «признал» Америку и Маяковский. Тем интереснее его ранняя англо-мания. Она, конечно, не от петербургской биржи и не от модной литературы, она — от революционного русского подполья, к которому в те дни близок был Маяковский. Там существовал свой культ машины.

Англичанин мудрец, чтоб работе помочь
Изобрел за машиной машину,
А наш русский мужик, коль работать не в мочь
Лишь затянет родную «Дубину».

Вот откуда сочетание слов «машина и Англия».

Маяковский, несомненный большой поэт, не мог прилепиться сердцем к подполью, но не мог и не читать тамошних символов веры. Переноса их в поэзию, он выдал природу своего славословия. Для русского международного, как для итальянского национального социализма, машина — простой инструмент, «чтоб работе помочь». Такой и предстала она в футуристической поэзии — вещь самой смиренной из всех вещей, менее бунтарской, чем штаны, бегущие над городом одни, без хозяина.

*

Но футуристические боги нашли поклонение у людей более тонкой духовной формации. Сколько ни призывали футуристы к движению, они не могли сказать, зачем это нужно. Ответ есть у Гумилева:

Лишь в одном божественном движеньи
Косным нам дано преображенье.

Гумилев и войну пел не как Маринетти, словами, взятыми из лексикона социального благоустройства («гигиена мира»), а как высокое стремление духа.

Машина и движение, не волновавшие Маяковского, необычайно волновали Блока. Ни один футурист не присматривался так пристально к своему времени, не чувствовал его вкуса, цвета и запаха, как Блок. Он внимательно следил за появлением новых скоростей быстроходных кораблей, паровозов, моторов, присутствовал при первых полетах авиаторов, и совершенно заворожен был видом самолета. В одном письме к матери из-за границы, с восторгом писал о бельгийской железной дороге, где поезда, по слухам, ходят в быстрой ста верст в час. Он жаждет испытать эту молниеносную езду.

В машине виделось нездешнее, мистическое и, одно время, Блок боялся ее, как знамения гибели мира.

О чем машин немолчный скрежет?
Зачем — пропеллер, воя, режет
Туман холодный и пустой?

Страх скоро сменился поклонением; в машине почувдилось посланничество вышних сил, и поэт благословил индустриальный ландшафт России. Самая гарь фабричных труб стала веять свободой. «Уголь превращается в алмаз, Россия — в новую Америку». «В новую, а не в старую Америку». Мысль Блока предельно ясна. На старую унаследован от Конст. Леонтьева взгляд, как на образ бездуховного бытия. Звездой она стала с тех пор, как в ней загудела машина, принеся в мир очищающее дыхание.

Блок особо отметил появление романа Б. Келлермана «Тоннель», увидев в нем «величие нашего времени». Вряд ли это величие усматривалось в замысле прорытия подземного хода между Америкой и Европой. Не уэлльсовский утопизм, а картина организации работ, похожая на величайший военный поход с участием миллионов рабочих, сотен тысяч инженеров, с примени-

ем громадных машин, для изготовления которых понадобилась целая индустрия, пленила Блока. Келлерману удалось показать невиданную мощь организованной силы и целеустремленного движения, которую может развить и породить наша эпоха. Когда в тоннеле происходит взрыв, то вызванная им катастрофа разыгрывается в таких же грандиозных размерах: поезда, переполненные обезумевшими людьми, выносящиеся каждую минуту из подземелья, восставшая в городе толпа, стачка, невиданная манифестация рабочих на Бродвее, крах банка, пожар небоскреба — на всем печать грандиозных сил, приближающихся по своей мощи к стихийным силам.

Величие и в пейзаже индустриального города. В морозный день он показался похожим на гигантскую машину, со столбами белого дыма и громадами небоскребов. «Нью Йорк под парами!»

*

Почему же не футуристы, а певцы Прекрасной Дамы и вечной женственности прониклись чувством величия машинной эры?

Кто то, кажется М. Осоргин, подсчитал, что одна большая гидроэлектрическая станция в Америке производит больше энергии, чем могло ее дать соединение мускульной силы всего человеческого и животного населения Римской Империи. А таких станций много и к ним надо прибавить сотни тысяч фабрик, поездов, пароходов, аэропланов, моторов. Никогда в истории человечества не наблюдалось такого скопления силы, готовой на любое устремление.

Поражала она независимо от своего применения. Если в наши дни ученые физики поговаривают о тайне энергии, как тайне мироздания, если в лабораториях, не сегодня-завтра, родится новая религия, то надо ли удивляться, что пятьдесят лет тому назад, чуткие души начали улавливать в вертящихся ремнях и колесах ду-

новение божества. Вряд ли тогда предвидели атомный век, реактивные самолеты, космические ракеты, но уже тогдашние механизмы принесли в мир физическую мощь, повергавшую мысль в смятение. Уже в тогдашнем машинном гуле слышался глас Божий. Новое божество открылось не уличным ораторам, а людям веры и мистической одаренности.

*

Русской литературе, давно уставшей от бытовизма, от толстовства, и успевшей устать от символизма, это сулило обновление, по крайней мере, освежение. Намечался переход к чему то вроде героической романтики, ибо ритмы индустриальной эпохи были ритмами героическими. Блок и Гумилев, каждый по своему, захвачены были грядущей эпохой. И, как знать, не сломай мировая война и революция хребта русской литературе, мы имели бы, может быть, машинную «Двенадцать». К этому шло.

Старой нашей словесности, эта новая струя, не так уж была бы чужда, как может показаться на первый взгляд. Правда, никогда у нас не восхищались силой и движением самими по себе. Не заглядывавшие на фабрику писатели, не знали волнения, вызываемого ударами парового молота или кружением махового колеса. Нет у нас описания бега автомобиля, парохода, поезда. Поезд интересовал, больше, составом пассажиров своих трех классов, а не поэзией мчащейся громады на колесах. Ничего подобного «Атаке автобусов» Жюля Ромена в русской литературе не найти. Даже тройка, самое быстрое, что у нас было, описывалась этнографически — бубенцы, дуга, песня ямщика. Понадобилось тридцатилетнее изгнанничество и пребывание на машинном западе, чтобы заплатить долг отечественным скоростям. Имею в виду два превосходных рассказа Александра Гефтера «Лихач» и «Тройка», напечатанные в 1951 г. в «Возрождении». Переданное там чувство стремитель-

ности, впервые поднимает тройку до колесницы Фазтона. В старой литературе давили прохожих, разбивали вдребезги экипажи, загоняли насмерть лошадей, но прекрасного, величественного бега не умели показать.

Предчувствие красоты целеустремленного движения можно подметить, разве, в сцене конских скачек в «Анне Карениной» или в великолепной картине мчащегося в атаку гусарского полка, которому Николай Ростов пересекает дорогу, в «Войне и Мире». Прекрасен и рассказ Куприна о беговой лошади «Изумруд». Как ни странно, но именно Куприн — бытовик и «знаниевец», острее всех чувствовал поэзию движения. Особенно удался ему церемониальный марш в «Поединке».

— «Дружно загрохотали впереди полковые барабанщики. Видно было сзади, как от наклоненного леса штыков отделилась правильная длинная линия и равномерно закачалась в воздухе.

— Вторая полурота прямо!..

И другая линия штыков, уходя заколебалась. Звук барабанов становился все тупее и тише, точно он спускался вниз, под землю, и вдруг на него налетела, смяв и повалив его, веселая, сияющая, резко красивая волна оркестра. Это подхватила темп полковая музыка, и весь полк сразу ожил и подтянулся; головы поднялись выше, выпрямились стройные тела, прояснились серые усталые лица».

Мало того, что здесь великолепно предвосхищены Жюль-Роменовские марши, но кусок этот — возвешение в прозе о преображающей силе «божественного движения». Читая его веришь, что поручик Ромашов мог впасть в роковой для него экстаз, шагая во главе своей полуроты.

До наступления машинного века, марши, парады, война, были главным видом и подобием механического движения. Но эта поэзия старательно искоренялась в России шестидесятничеством и вульгарным реализмом.

Даже мировая война с движением и столкновениями невиданных по численности армий и флотов, с апокалипсическим грохотом артиллерии, не в силах оказалась сдвинуть литературу с плоского бытовизма. Как бездарны и серы фронтовые эпизоды в «Хождении по мукам» А. Толстого! Только читая безыскусственные письма и очерки офицеров — участников боев, видишь, мимо каких сказочных сокровищ прошли писатели. До сих пор вспоминается напечатанное в 1915 г., не то в «Ниве», не то в каком то другом подобном журнале, письмо полковника, пережившего атаку немецкой конницы, лавиной мчавшейся на русские позиции.

Миру послана была новая Троянская война, но не послан Гомер. От Гомера унаследовали одну слепоту. Слепыми прошли и через вторую мировую войну — еще более грандиозную, еще более машинную. В нее, вообще, не всматривались и не вслушивались, подошли с готовыми писательскими штампами. «Дни и ночи Сталинграда» — один из наиболее прославленных романов, написан по допотопному образцу, с вырисовыванием отдельных фигур и эпизодов. Так описывали войну в старинных рыцарских романах, ставивших задачей показ доблести героя. Автор не понял, что современная война — это массы, а не человек, и что ищем мы в ней не Кузьму Крючкова, а страшную силу миллионных армий. Нас восхищает не отдельный меткий выстрел, а ураганный огонь артиллерии.

Еще неудачнее другой опыт — «Взятие Берлина» Вс. Иванова. Парадный роман, долженствовавший воспеть славу русского оружия, поручен был типичному бытовика, созданному для рассказов из уездной жизни. Ни романтика, ни героика никогда ему не давались. Во «Взятии Берлина» он разменялся на анекдотические эпизоды, вроде того, как лев, бежавший из зоологического сада, подкармливался на полковой кухне или как мальчишка собирал под немецкими пулями рассыпавшиеся шоколадки. Но он наглухо закупорен для «упое-

ния в бою» и не подозревает, что в движении танковой колонны гремит полет Валькирий.

Есть в советской литературе вещь, задуманная с прямой целью создать революционный Анабазис — отступление нескольких сот тысяч «иногородних» с Северного Кавказа, преследуемых казаками. В самом названии произведения, «Железный поток», видна идея показать стремительное движение масс. Трудно подыскать более благодарный сюжет для такого замысла. Но рожденный ползать, летать не может. Дитя чахлой символистской прозы, захотевшей быть лирическим стихом, Серафимович не владел языком героического повествования. Сильно в нем оказалось и наследие Тимковских, Златовратских, Гусевых-Оренбургских, да и советскую ноту надо было в чем то проявить, хотя бы в каррикатурном описании молебна. Такое сочетание противоречивых средств погубило тему. Вместо грозного гула человеческой лавы, вышел гам цыганского табора в пути.

Чем больше заполнялся русский язык советского времени словами военного лексикона — «штурм», «наступление», «поход», тем менее способной оказывалась литература освободить поэзию заключенную в этих словах. Когда началась индустриализация, и машина должна была занять первое место в умах, о ней вовсе перестали упоминать. Писали о героях труда, об организаторах «строек», о высокой сознательности рабочих, за машиной же твердо оставалось место, отведенное ей народнической «Дубинушкой» — «чтоб работе помочь». В ней было презрено все что давало новый строй чувствам и поднимало дух. Поэзия механического движения отмирала по мере увеличения в стране числа фабрик, электростанций, автомобилей, аэропланов.

*

Надо ли удивляться, что атомный век застал литературу вполне бесчувственной к тайне энергии и умо-

помрачительных скоростей? Если величайшие дары машинной эры, показавшей нам мир с мчащегося поезда, с автомобиля, с аэроплана — не оценены поэзией и не обогатили человеческого духа, то где ей, этой поэзии, набраться сил, чтобы художественно осмыслить чудесные ракеты, вынесшие человека в мировое пространство! Проникнуться новой красотой ей труднее, чем мозгу дикаря справиться с видом океанского парохода.

Первый «Спутник» никаких других чувств не вызвал, кроме зависти и соперничества на Западе и необыкновенного чванства в СССР. Такими эмоциями сопровождалась и все прочие «запуски». Не зарегистрировано еще ни одной души, возвысившейся при виде небывалого, поистине божественного, полета человека вокруг земли. Никто не благословил энергии, позволившей взглянуть на землю с высоты вселенной, прислушаться к «пению лир надзвездных, к гимну сфер вращающихся в безднах».

Да и кто были эти первые небожители, пролетевшие кометой в пространстве?

Говорят, два миллиона человек, встречавшие Юрия Гагарина на аэродроме под Москвой замерли и затаили дыхание, когда он подошел к микрофону. Никогда еще человеческому слуху не предстояло внимать существу, вознесшемуся за пределы земного мира. «Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует». Ждали подлинно космического слова. И что услышали?

Рапорт партии и правительству об успешном выполнении задания...

Не больше поведали Титов, Шеппард, Глэн. Может быть им, в самом деле, запрещено говорить? Тайну могут выдать? Пусть хранят тайну военную, есть другая, против ее оглашения никакое ведомство не станет возражать — тайна души, побывавшей там, где ни одна душа еще не бывала.

Но что, если этой тайны у них, как раз и нет?

Похоже, что космонавты способны поведать о ней не больше, чем Стрелка, Белка и та обезьянка, что побывали в пространстве до них. Ведь подбирали этих людей не по духовным, а по физическим качествам, по наибольшему приближению их нервной организации к автоматическим приборам и аппаратам межпланетной кабины. Мужества их никто не отнимет и ни у кого не повернется язык возразить против увенчания их лаврами. Из всех триумфов мировой истории, их триумф самый заслуженный и самый светлый. Но как бы нам хотелось, чтобы венец бессмертия возложен был не на такие головы! Сравните их ординарные, невыразительные лица с портретом Христофора Колумба кисти Себастьяно дель Пиомбо, в Нью-Йоркском Метрополитэн-музее, и вы поймете, почему открытие Америки навсегда останется подвигом человеческого духа, тогда как завоевание космоса — чем то вроде победы на автомобильных гонках.

Героя отличает не хладнокровие робота, а язык пламени, сверкающий над челом.

*

Скажут: если запустить Эренбурга в пространство, мы получили бы увлекательный очерк. Когда это случится, можно будет точно установить, что оскорбительнее для звездной вселенной — лепет ли полуграмотных майоров или развязный фельетон.

Сейчас кого ни запускай — все одно. К звездам летают тела, дух прибит к земле и вьется во прахе.

Не возмездие ли это за грех перед машиной, когда она подобно евангельскому «свету истинну» пришла в мир и мир не познал ее? Не за то ли, что говорим «машина — враг Богу», что непорочный чистый механизм делаем ответственным за свою пошлость и мерзости? «Каждый взмах колеса плодит всемирную чернь». Мы повторяем эти слова Блока, сказанные им до своего обра-

щения из гонителя Савла в провозвестника машинной веры, но не внемлем его благовествованию о «Новой Америке». Недолгий век был ему дан, и механическое божество осталось без своего пророка и апостола. И вот, на вызов сделанный машиной, человечество уже не в силах ответить Колумбом. Оно выставляет шеренгу спортсменов. Не машина нас сделала чернью, а мы ее унижали, попирали ее величие, ибо чернь есмы. Падут на нас тысячи бедствий, и самое первое уже испытываем: пресекая большой источник поэзии.

Встреча Достоевского и Гоголя

*(начало осени 1848 года)**

Известно, что после появления первого тома Мертвых душ, за 1842-47 гг., проведенные Гоголем за границей, в характере его произошел сдвиг, наложивший свою печать на его дальнейшую литературную деятельность, помешавший ему закончить, в рамках первичного его плана, Мертвые души и, наконец, сведший его в раннюю могилу.

В своей длинной статье, озаглавленной «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 г.», напечатанной в 1857 году и далеко выходящей за рамки своего заглавия, П. В. Анненков, отметив первые признаки перелома еще в конце 1840 года, пишет о Гоголе: «С половины 1843 года на первый план выступает нравственное развитие... Начинает выказываться та склонность к упрекам и выговорам, которая отличала потом все его сношения с людьми, близкими и далекими. Высшее нравственное состояние, которого он достиг, по его мнению, дозволяло и узаконяло голый упрек: Н. В. потерял даже и представле-

* Часть главы из книги «Творчество Ф. М. Достоевского», предположенной к печати. РЕД.

ние о его житейском, оскорбляющем свойстве... Наступает 1844 год, важнейший во втором периоде Гоголевского творчества... Он сосредоточивается весь на переписке с друзьями... Торжественно принимает он на себя роль моралиста».

Это духовное перерождение, как известно, отразилось полностью в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшей в самом конце 1846 года, вызвавшей бурю негодования в либеральных литературных кругах и смутившей даже самих друзей Гоголя.

Неудача этой книги глубоко поразила Гоголя; она в значительной степени сломила его. Последовательный в своей эволюции, по своему искренний в своих стремлениях и высказываниях, нашедших свое выражение в «Переписке», Гоголь особенно болезненно воспринимал упреки в лицемерии и неискренности, высказываемые очень часто и резко, и всеми способами стремился опровергнуть подобное впечатление, признавая, вместе с тем, что во многом он, вероятно, ошибался.

Всегда интересовавшийся особенно живо литературными движениями, Гоголь, естественно, особенно стремился рассеять невыгодное впечатление, созданное «Перепиской» в глазах литературной молодежи. Для этой цели, осенью 1848 года, находясь в Петербурге с середины сентября до середины октября, он обратился к своему приятелю А. А. Комарову, прося устроить ему встречу с молодыми писателями. Комаров был выбран за свои либерально-литературные связи — он был другом Белинского, и Гоголь именно у него и встречался ранее с Белинским. Зная, что либеральные литературные круги особенно резко осуждают его — известное письмо Белинского от предыдущего года не оставляло в этом никаких сомнений — Гоголь хотел попытаться объяснить с ними. Тот факт, что Комаров любил хорошо поесть и сам искусно готовил, так что стол его пользовался заслуженной славой и высоко ценился, в частности, еще самим Белинским, являлся лишним аргументом в пользу

выбора посредника. Встреча состоялась, но результат оказался, повидимому, далеко не благоприятным. Вот как описывает ее в своих записках И. И. Панаев, сам на ней присутствовавший:

«Гоголь изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных *новых* литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил, между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем...

Мы собрались к А. А. Комарову часу в девятом вечера. Радушный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением. Он благоговел перед его талантом. Мы все также разделяли его нетерпение; в ожидании Гоголя не пили чай до десяти часов. Но Гоголь не показывался, и мы сели к чайному столу без него.

Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень заметно, что не читал их. Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые «Письма» писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами.

От ужина, к величайшему огорчению хозяина дома, он также отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя тут были всевозможные вина.

Чем же Вас угощать, Николай Васильевич? — сказал наконец в отчаянии хозяин дома.

Ничем — отвечал Гоголь, потирая свою бородку. — Впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги.

Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты... Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги.

Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.

Сейчас подадут малагу, — сказал хозяин дома, — погодите немного.

Нет, уж мне не хочется, да к тому же поздно...

Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы...

Не знаю, как другим, мне стало как-то легче дышать после его отъезда».

Впечатление очевидно было самым невыгодным, и несчастный эпизод с малагой, как будто, немало этому способствовал, если судить по месту, которое он занимает в описании встречи, затемняя собою все и вытесняя полностью разговоры. Записки Панаева, заключающие в себе этот эпизод, были опубликованы впервые в 1860 году. Кроме него, о встрече этой писали А. Панаева, очевидно со слов Некрасова, а также, со слов того же Некрасова, Суворин, но оба уже значительно позже, настолько, что они явно путают и место и время этой встречи.

Однако раньше чем появились все эти описания, в 1859 году вышла в свет повесть Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», и в ней мы читаем следующее:

«Да не хочешь ли подкрепиться, а? Так, этак... рюмочку маленькую чего-нибудь, чтобы согреться...

Малаги бы я выпил теперь, — простонал Фома, снова закрывая глаза.

Малаги? Навряд ли у нас есть — сказал дядя, с беспокойством глядя на Прасковью Ильиничну.

Как не быть! — подхватила Прасковья Ильинична: целые четыре бутылки остались — и тотчас же, гремя ключами, побежала за малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи варенье. Зато господин Бахчеев был в самой последней степени негодования.

Малаги захотел — проворчал он чуть не вслух. — И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы, проклятые! Ну, я то чего тут стою? Чего я то жду?..»

Нам кажется, достаточно сопоставить эти два отрывка, чтобы тождественность их бросилась немедленно в глаза. Невозможно допустить мысль о совпадении — Достоевский определенно и намеренно пародировал поведение Гоголя на ужине у Комарова, обозвав его, кстати уже, подлецом: «кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца?» Этой фразой Достоевский, кроме того, неоспоримо утверждал, тождество Гоголя и Фомы в глазах всех тех, кто знал об инциденте с малагой у Комарова.

Но откуда он сам мог знать эти подробности приема? Его повесть появилась в печати целым годом раньше записок Панаева, а начата писанием еще на два года раньше; других описаний он читать не мог, так как их не было; выслушанный от кого-либо из присутствовавших устный рассказ навряд ли бы оставил в его уме след настолько яркий и неизгладимый, что он пронес его через всю каторгу и восстановил полностью десять лет спустя. Единственное, само собою напрашивающееся объяснение: Достоевский сам присутствовал на пресловутом вечере, где видел Гоголя, и описанную Панаевым сцену он воспроизвел по личному своему, непосредственному воспоминанию.

Ничто не противится этой гипотезе, напротив, ряд соображений усиливает ее правдоподобие и вероятность. Достоевский, проживавший в Петербурге, вполне под-

ходил под определение тех людей, с которыми Гоголь желал познакомиться: он был и известен и нов. Известен, после шумного успеха «Бедных людей», дополняемого одобрением определенных литературных кругов и нескольких из его последующих, менее дружелюбно принятых публикой, произведений. Нов, в обоих смыслах этого слова, как того, повидимому, желал и сам Гоголь: и потому, что был молодым, начинающим писателем, и потому, что принадлежал к новым либеральным течениям. Известно, что именно в это время Достоевский особенно деятельно занимался тайными обществами, настолько, что не удовольствовавшись Петрашевскими собраниями, затеял значительно менее безобидные кружки, тайную типографию и т. д. и меньше чем через год уже был схвачен, осужден и сослан.

С другой стороны, хотя Панаев и не упоминает Достоевского по имени, он отмечает, что перечисляет не всех присутствующих, говоря: «пригласил, между прочими», и подчеркивая таким образом, что называет лишь некоторых, наиболее видных и ему лично знакомых и близких писателей, помимо которых были и другие. Достоевского же он уж разумеется не стал бы называть, так как относился к нему в этот период резко недоброжелательно, считал, что все они, и Белинский, и Некрасов, и Григорович, и он сам жестоко ошиблись, признав было за Достоевским большой талант и конечно не одобрял его присутствия. К тому же, лица, которых он перечисляет среди присутствующих, были им, очевидно, названы по совершенно особому признаку, который Достоевского исключал.

В самом деле, четыре имени им выделены и названы «между прочими» потому, что, несколько ниже Панаев пишет: «Хозяин представил ему (Гоголю) Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина», т. е. именно этих названных им выше людей, в отличие от «прочих», оставшихся, повидимому, непредставленными, что было тем легче сделать, что Гоголь «подал руку знако-

мым, отправился в другую комнату и разлегся на диване». Очевидно-то знакомые, с которыми Гоголь таким образом поздоровался, отправились за ним в эту соседнюю комнату, иначе с кем же бы было ему говорить, хотя бы и «мало, вяло, нехотя». Среди этих знакомых был, разумеется, и Панаев. Прочие же, естественно, остались в столовой. И в эту то соседнюю комнату Комаров очевидно и водил к нему представляться избранных, ибо иначе, если бы все происходило в общей комнате, невозможно представить себе, чтобы познакомили с Гоголем лишь нескольких, отбирая их среди присутствующих. Также получилось, как будто, две категории новых литераторов — четыре избранных, удостоившихся личного знакомства, представления и разговора «с каждым из них об их произведениях», и прочие, ограничившиеся лишь тем, что видели Гоголя вблизи и слышали его общие высказывания. Достоевский в число четырех не попал. Подобный отбор и наличие нескольких, так и не представленных Гоголю, гостей за ужином было далеко не исключением в сношениях Гоголя с людьми: та же Панаева рассказывает, что была приглашена на обед с Гоголем при условии, что представлена она ему не будет, чему она, якобы, была очень рада.

Нам кажется, что сопоставление текстов совершенно бесспорно указывает на наличие этой встречи Достоевского с Гоголем, встречи, которую, как мы видели, нельзя, собственно, назвать знакомством и которая оставила столь болезненный след в душе Достоевского.

Действительно, первое его произведение после возвращения, вместе с «Дядюшкиным сном», более коротким и поэтому законченным раньше, это — «Село Степанчиково», над которым он два года работал. Явная карриатура на Гоголя, представленного в виде Фомы Опискина, ханжи и педанта, и сама по себе бросается в глаза и подкрепляется рядом цитат и напоминаний, отмеченных, в большинстве случаев, исследователями, в частности, Тыняновым, — в этом отношении мы, конечно,

ничего не открываем нового. Но эпизод с малагой позволяет, с одной стороны, установить факт встречи обоих писателей осенью 1848 года и, с другой стороны, дает новое, прямое указание на сознательную, злобную пародию.

Прежде чем заняться самой встречей и впечатлением, которое она произвела на Достоевского, отметим интересную особенность этого эпизода с малагой: все прочие черты и цитаты взяты в «Степанчикове» из сочинений Гоголя, почти исключительно из «Переписки с друзьями», их легко проверить и узнать и они имеют полемическое значение, подрывая авторитет «Переписки», высмеивая ее перед глазами читающей ее публики. Эпизод же с малагой — совершенно иного свойства: это личное воспоминание о происшествии, случившемся в частном доме, о котором Достоевский знал, так как был одним из сравнительно немногих его очевидцев, но которое конечно должно было бы остаться навеки неизвестным читателю и потомству, если бы, по счастливой случайности, этот же эпизод не поразил Панаева настолько, что он его, со своей стороны, записал, да к тому же счел потом нужным издать свои воспоминания. Все это — обстоятельства, которых Достоевский никоим образом не мог предвидеть.

Таким образом, сцена, написанная Достоевским, приобретает особый облик: это — карикатурная черта, списанная с натуры для собственного, исключительного удовольствия автора, черта, разумеется, характерная для выведенного автором типа, но которую никто, кроме него, до конца понять не сможет, которую он один может смаковать вполне, не говоря уже о приведенном нами выше *a parte* Бахчеева, в котором Достоевский обзывает Гоголя подлецом, но опять же в такой форме, что никто, кроме него самого, не может этого понять. Подобный комплекс чувств очень типичен, думается нам, для Достоевского и находит себе неоднократно выражение и в самом авторе и у ряда его героев. Вместе с тем, он ярко показывает всю силу того враждебного к Гоголю чувства, которое Достоевский излил в этом произведении.

Враждебность эта Достоевского к Гоголю — чувство сложное и постоянное. Наряду с ненавистью, в нем много и преклонения против воли, и зависти, и сознания своей художественной преемственности; чувство это в Достоевском отнюдь не ново. С первого же его произведения, «Бедные люди», оно не перестает повторно выявляться на всем протяжении его литературной деятельности. Если вспомнить, что Достоевский вступил на литературное поприще в 1844 году, а Гоголь, начавший проявлять признаки душевного перелома уже несколько раньше, именно с этого года «торжественно принимает на себя роль моралиста», общие, идейные причины этой враждебности становятся во многом ясными: Достоевский, который глубоко переживает социальные и личные проблемы страдающего человека, который начинает свою литературную деятельность с ряда резко очерченных социально-психологических этюдов, не может не преклоняться перед Гоголем, отцом русского романа и русской повести, которому он стольким лично обязан — «мы все вышли из Гоголевской «Шинели» — и от влияния которого он так долго не может освободиться, пожалуй, никогда вполне и не освобождается. Но Достоевский принадлежит к другому поколению, поколению Некрасова, Гончарова, Григоровича — прибавим и Дружинина, чтобы воспроизвести меткий, в 1848 году, подбор Комарова. Этим людям свойствен личный подход, они интересуются судьбой каждого, его единою, неповторимой жизнью, ее задачами и неудачами; им непонятен общечеловеческий, обезличивающий подход Гоголя, подход метафизика и богослова, пожалуй, даже скорее западноевропейского, чем православного богослова, но с русской душой, в чем и заключалась драма Гоголя, стоившая ему жизни и, что еще важнее, творчества. Они естественно относятся к Гоголю враждебно, как к философу, и, тем более, как к моралисту, ибо он противоречит самой их сущности. Чем принять Гоголевское разрешение человеческой задачи и удовлетвориться им, они предпочитают,

говоря словами Ивана Карамазова, почтительнейше возвратить билет в рай.

Естественно поэтому, что чем сильнее восторг перед художественными произведениями Гоголя и сознание литературной от них зависимости, тем больше возмущения вызывает Гоголь моралист и проповедник, выявившийся в тот момент, когда Достоевский приступает к писанию, возмущения, обусловленного тем, что Достоевский, как и все его поколение, да и не оно одно, не видит единства подхода Гоголя к жизни как в художественных, так и в моральных произведениях и считает изменю себе и людям и переломом естественное развитие метафизического мировоззрения, неизбежно долженствовавшего прийти к выводу, что прямое поучение лучше притчи.

Естественно также, что это возмущение, уже сильное у молодого Достоевского с самого начала его литературной деятельности, достигла своего апогея после выхода «Переписки с друзьями», со всеми последующими перипетиями, не исключая, разумеется, и пресловутого письма Белинского. Мы знаем, что именно публичное чтение этой переписки Гоголя с Белинским и явилось самым серьезным из предъявленных властями Достоевскому обвинений.

Это личное обстоятельство, конечно, не преминуло еще усилить его негодование на «Переписку» и ее автора и в значительной степени объясняет остроту сатиры «Степанчикова», начатой еще в ссылке, насыщенной цитатами из «Переписки» и построенной вокруг центрального карикатурного образа, целиком навеянного этой книгой. Если же добавить к этому установленное нами выше свидание, давшее последний штрих личного впечатления, живого образа картине, созданной чтением печатного материала, мы легко пойдем, что, помимо даже сцены с малагой, общее впечатление должно было неимоверно усилить возбуждение и враждебность и помочь Достоевскому нарисовать на редкость злобную кар-

рикатуру. Вероятно, что описание первого выхода Фомы, появляющегося, не следует этого забывать, в столовой, где общество, уже давно его ожидающее, пьет чай, точь в точь как появился Гоголь у Комарова, описание его внешности и одежды также навеяны личным впечатлением. Портрет, в общем, схож, конечно в каррикатурном виде, — бородавка, — в costume тоже есть сходство — мы знаем, что Гоголь любил очень длинные сюртуки и одевался нередко довольно эксцентрично.

Впечатление, оставшееся у Достоевского от свидания было очевидно очень сильным. И не удивительно — если на самого Панаева этот ужин произвел такое тягостное впечатление — Гоголь «распространял вокруг себя какую-то неловкость», «стало легче дышать после его ухода», и весь эпизод, вообще, рассказан Панаевым, как пример «странного обращения с друзьями», легко понять, какое впечатление вынес молодой, самолюбивый и боящийся людей Достоевский, уже возбужденный против Гоголя «Перепиской», и теперь, затерянный среди ряда других писателей, в первый и последний раз сталкивающийся с ним лицом к лицу. Характерно, что в последующие за свиданием месяцы Достоевский так ревностно читает публично переписку Белинского с Гоголем, убийственную для Гоголя, по мнению тогдашнего общественного мнения, — возможно, что воспоминание об ужине послужило ему в этом сильным стимулом.

Все эти соображения общего характера бесспорны и сильны и их одних казалось бы совершенно достаточно, чтобы объяснить и возбуждение Достоевского, и длительность его негодования, и резкость, с которой он выставляет на публичное посмеяние уже несколько лет как умершего, весьма трагически, Гоголя. Однако это последнее обстоятельство, тот факт, что издевательство безжалостно проводится по отношению к покойнику, невольно заставляет нас подумать, нет ли, помимо идейных причин, вызывающих благородное негодование, причин личных, объясняющих непрощенную обиду.

Нетрудно убедиться, что причины такие есть, и что они нашли свое отражение в повести Достоевского.

Одну из них мы уже видели; она заключается в том, что изо всех приглашенных «новых» литераторов, лишь четверо были действительно представлены Гоголю и, как мы предположили, вызваны в соседнюю комнату, где Гоголь «разлегся на диване». Достоевский же и другие, так же как и он, неназванные писатели помельче, приглашенные для полноты представительства, остались в столовой и должны были довольствоваться обрывками разговора, которые до них доносились. И после, когда стали продолжать чай и ужин, прерванные, очевидно, церемонией представления и выходом, вслед за Гоголем, знакомых ему людей в соседнюю комнату, когда все, с Гоголем во главе, вернулись, расселись за столом и начался общий разговор, Достоевский, не будучи представленным, естественно ограничивался лишь тем, что слушал высказывания Гоголя, который, хотя и обращался к кому-нибудь одному, говорил, очевидно, для всех, «как будто оправдывался перед нами», как пишет Панаев. И тут в разговор могли вступать лишь избранные, в частности Некрасов и Григорович, с которыми Достоевский уже давно успел рассориться, но которых представили, а его нет. Невозможно, чтобы подобное унижительное положение, преувеличенное мнительностью и болезненным самолюбием Достоевского до чудовищных размеров, не нашло своего выражения в «Степанчикове». Действительно, мы его там легко находим и в очень яркой форме.

Прежде, однако, чем заняться этим, укажем на вторую резкую черту, также личного свойства. Панаев пишет: «Мы собрались к А. А. Комарову часу в девятом вечера. Радушный хозяин приготовил *роскошнейший* ужин для знаменитого гостя и ожидал его с нетерпением — он благоговел перед его талантом. *Мы все также разделяли его нетерпение; в ожидании Гоголя не пили чай до десяти часов.* Но Гоголь не показывался, и мы

сели к чайному столу без него». Затем, в половине одиннадцатого, т. е. очень скоро после того, как сели за стол, приезжает Гоголь и проходит через столовую в соседнюю комнату, знакомые ему гости за ним и туда же ведут к нему на поклон четверых избранных. Ясно, что ужин и чаепитие прерываются — ни хозяина, ни Гоголя, ни наиболее почетных гостей за столом больше нет, и прочие должны ждать, пока все вернутся и можно будет, наконец, поесть вволю. Это случилось очень не скоро; когда Гоголь перешел в столовую и тут же отказался от ужина «было уже около часа»; собрались же литераторы знакомиться с Гоголем «часу в девятом вечера», т. е. за четыре с половиной часа до этого. Сам Панаев, знакомый с Гоголем и бывший в числе разговаривавших избранных, подчеркивает, как будто, длительность ожидания Гоголя, относя, как нам кажется, немного иронически, объяснение нетерпения благоговением перед талантом к одному лишь Комарову, а для всех прочих знаменательно сопоставляя две фразы — «мы все разделяли его нетерпение: в ожидании Гоголя не пили чай до десяти часов».

Если учесть все это, то особый свет приобретают следующие слова из «Степанчикова»; «Перед самым обедом, он (Фома)... стал читать новую проповедь. — Полковник — начал он — вы вступаете в законный брак. Понимаете ли вы ту обязанность... И так далее, и так далее; представьте себе *десять страниц, формата Journal des Débats самой мелкой печати, наполненных самым диким вздором...*

Все были голодны; всем хотелось обедать; но, несмотря на то, никто не смел противоречить и все с благоговением дослушали всю дичь до конца; даже Бахчевев, при всем своем мучительном аппетите, просидел, не шелохнувшись, в самой полной почтительности».

Нам кажется трудным не видеть тесной связи между этой сценой и рассказом Панаева о четырехчасовом ожидании литераторов перед столом, на котором красо-

вался «роскошнейший ужин». Даже, если не предположить, что «мучительный аппетит» Бахчиева не является картиной состояния самого Достоевского, достаточно фразы: «все были голодны, всем хотелось обедать», чтобы понять и то голодное ожидание, которому подвержен был Достоевский, и ту горечь, которую оставило ему это неизгладимое воспоминание. А он наверно был действительно голоден в этот вечер — достаточно вспомнить ту скудность его обстоятельств, которую выявляет автобиографическая часть «Униженных и Оскорбленных». Если сопоставить это с «роскошнейшим», даже для знаменитого своими обедами Комаровского дома, ужином, который столько часов красовался перед его голодными глазами, картина получится полная.

Мы намеренно начали цитату из «Села Степанчиков» несколько ранее, чем это было, как будто, необходимо. Сделали мы это для того, чтобы выделить подчеркнутые нами фразы текста, фразы весьма любопытные и, насколько нам известно, не останавливавшие до сих пор на себе внимания комментаторов.

Как мы уже видели, Достоевский захотел, даже более, ощутил потребность перенести в свою сатиру и это ожидание, пытку голодом, которой подвергло почтительно молчавших литераторов многословие Гоголя, «самый дикий вздор», как он злобно определяет его высказывания. Но, как мы увидим дальше, разговор, имевший тогда место, или карриатура на него, был уже помещен Достоевским в повести раньше; повторять его было нельзя. Поэтому он и прибегает в этом случае к «проповеди», которой, разумеется, не приводит, чтобы тем ярче подчеркнуть ее длину косвенным описанием. Но определяет он ее весьма характерно — не временем, а количеством страниц, точно при этом указывая и необычный для русской книги удлиненный формат и мелкую печать *Journal des Débats*. Всякому, кто видел первое издание «Переписки с друзьями» немедленно бросится в глаза меткость этих двух внешних признаков. Этим умелым приемом Досто-

евский в двух словах подчеркивает для читателя, конечно знакомого с нашумевшей «Перепиской», по описанию внешнего облика ее издания, необычного, легко узнаваемого формата и печати, что оригинал его карикатуры — Гоголь, и что олицетворяется для него этот ненавистный Гоголь «Перепискою с друзьями». Если учесть, что эта сцена помещена в самом конце разглагольствований Фомы и что после этого, за исключением немедленно следующих нескольких рассуждений пьяного Фомы о Юлии Цезаре и Александре Македонском, величаемом «мальчишкой» — конечно, герой, но зачем же стулья ломать? — Фома больше ничего уже не говорит в повести, то прием этот приобретает полное значение: при сочинении своей злой сатиры Достоевский широко пользуется многочисленными отрывками из «Переписки» и под конец, закончив цитаты, прозрачно указывает на их источник описанием внешнего вида ненавистной ему книги. Вместе с тем, это позволяет ему свести до минимума эту сцену ожидания обеда, нужную ему по личным, недоступным читателю, воспоминаниям; в таком виде она свободно умещается в рамках общего повествования.

Но голод и ожидание, несмотря на всю вызванную им желчь и бешенство, бледнеют перед главной обидой — не быть представленным, присутствовать молча при разговоре, остаться незамеченным, тогда как другие разговаривают. Этого, конечно, Достоевский не мог не выместить несравненно еще сильнее, чем ожидание ужина. Он так и сделал, при этом весьма интересным образом.

Вот что мы читаем в «Селе Степанчикове»: «Фома — крикнул дядя — рекомендую: племянник мой...

Фома Фомич... проговорил, после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания...

Я чувствовал, что начинаю дрожать от злости... Тянуть жилы — была потребность Фомы...

Вот, я рекомендую тебе, Фома, мой племянник...

Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня...

Фома Фомич, вот мой племянник... Он тоже занимался литературой — рекомендую.

Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малейшего внимания на рекомендацию дяди.

Ради Бога, не рекомендуюте меня более! Я вас серьезно прошу! шепнул я дяде с решительным видом...

(Говорит Фома) Дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников, которых... нарочно выписывают, чтобы показывать их в балагане или вроде того.

Камень был пущен прямо в мой огород. И однако же не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о литературе единственно для меня, чтобы ослепить, уничтожить, раздавить с первого шага Петербургского учебного умника. Я, по крайней мере, не сомневался в этом...

Терпение мое истошилось... Я горел желанием как-нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему, поазартнее — а там что бы ни было! Эта мысль одушевила меня. Я искал случая и, в ожидании, совершенно обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся: Фома решительно не хотел замечать меня».

Самая длина нашей выписки показывает важность, придаваемую Достоевским этому инциденту, что и естественно. Но, если лейт-мотивом остается фраза: «не обращавший на меня ни малейшего внимания», повторенная четыре раза, то характерны обстоятельства, в которых она встречается — она является ответом на *трижды* повторенные усилия дяди представить автора Фоме Фомичу. Мы, однако, достоверно знаем — Панаев нам это прямо указывает, — что никакой попытки представлять Достоевского Гоголю не было, а просто Комаров повел представляться лишь четверых, оставив Достоевского с прочими дожидаться в другой комнате, где они все сидели.

Перед нами очень любопытный, характерный для самолюбивого человека вообще, а для болезненно-обидчивого, особенно в этот период своей жизни, Достоевского, тем более, образчик преломления действительности и полупроизвольного искажения ее. Натурально Достоевский никак не мог предполагать, чтобы сцена эта из его повести была когда-либо расшифрована, он писал для себя, давая полную волю своим чувствам. И вот, обида на то, что его обошли вниманием и не представили, выражается в повести прямо противоположным поведением — его, напротив, усиленно представляют, навязывают, но Фома-Гоголь не желает обращать на него никакого внимания. Таким образом, Достоевский, пренебрегая Комаровым, решительно выявляет, кто его главный обидчик, виновник его предполагаемого унижения, и, одновременно, выдуманый, заведомо неверный вариант событий, ему одному понятный, ему, который сам его выдумал и которого, поэтому, обмануть этим нельзя, все же приятно льстит его самолюбию. «Польсти, польсти», как говорит в «Селе Степанчикове» Ежевикин. Можно пытаться понять это искажение фактов в том смысле, что может быть Гоголь, в соседней комнате, указал, кого именно представлять, тогда как, может быть, хозяин и собирался знакомить с ним всех приглашенных на ужин — звать людей специально для знакомства Гоголя с литературной молодежью, заранее зная в то же время, что их почетному гостю представлять не будут, было бы действительно неловко. Подобное объяснение, конечно, не исключается. Можно, однако, также сказать, что, даже если бы непосредственным орудием обиды этой группы литераторов и являлся Комаров, причина этого пренебрежительного к ним отношения крылась бы все же в самом Гоголе, для которого, как мы видели уже по рассказу Панаева, такое положение было не в новинку. Это положение и выражено образно Достоевским: Комаров-Дядя и рад бы, но Фома-Гоголь не хочет. Тем не менее, психологически, форма, избранная Достоевским, и

любопытна и характерна как проявление самолюбия, доведенного до болезненных пределов, требующего поправки и смягчения не в мнении окружающих, а лично для одного себя, при полном сознании того, что все это лишь выдумка, которая произвольно искажает истину. А в том, что искажение налицо, и самое неприкрытое, даже если принять полностью довольно шаткие, высказанные выше, догадки о наставлениях Гоголя Комарову, служит порукою характернейшая фраза: «Ради Бога, не рекомендуйте меня более! Я вас серьезно прошу! — шепнул я дяде с решительным видом». Фраза эта ни при каком варианте, сколько бы мы их не выдумывали, не могла никак быть произнесена и, если знать то, что мы теперь узнали, в ней явственно слышится Крыловское «зелен виноград».

И фраза эта не одна — Достоевский полностью раскрывает бездну своего уязвленного непомерного самолюбия знаменательным параграфом, который мы, приводя его выше, подчеркнули. Мы видели, как и Панаев отметил, что разговор был с направлением, намеренный, что Гоголь «как будто оправдывался перед нами». У обойденного Достоевского это правильно замеченное Панаевым положение, придававшее всем «какую-то неловкость, что-то принужденное», разрастается до чудовищных размеров. Он, как обычно, все относит к себе и смело пишет: *«не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о литературе единственно для меня»*. И хотя и можно, до некоторой степени, распространить это «меня» на всех присутствовавших на чае молодых литераторов, Достоевский все же ставит себя лично на первое место, добавляя немедленно: «Я, по крайней мере, не сомневался в этом».

Конечно, такой эгоцентрический подход не мог не показаться чрезмерным даже самому Достоевскому. Не без определенной цели изобразив рассказчика молодым, впечатлительным человеком, подчеркивая его чрезмер-

ное самолюбие — «Вы только очень самолюбивы. От этого еще можно исправиться», говорит ему Настенька, — Достоевский, тем не менее, так ведет свою повесть, что рассказчик оказывается действительно прав, несмотря на свое самолюбие и молодость, и Фома действительно ведет разговор для него одного «чтобы ослепить, уничтожить, раздавить с первого шага». Не только всё построение повести это доказывает, но Фома и сам об этом заявляет, опять-таки в очень примечательной для нас форме; «Давеча я выказал ум, талант, колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание иностранных литератур... Что же? Оценили кто-нибудь из них меня по достоинству? Нет, отворотились! Я ведь уверен, что он уже говорил вам, что я ничего не знаю. А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ним сидел».

Вот что, как мы видим из вышесказанного, заставляет Достоевский говорить самого Гоголя о результатах встречи с новыми литераторами. Характерно, что Фома употребляет здесь множественное число «кто-нибудь из них», когда в повести речь несомненно может идти об одном лишь вновь приехавшем рассказчике, а в остальной аудитории Фома уверен. Это еще ярче подчеркивает, что оценка дается не столько чаепитию в Степанчикове, сколько чаю у Комарова. В этом свете горькое «нет, отворотились», которое опять же совершенно не к месту в Степанчикове, является, повидимому, правильной оценкой того, как приняли молодые литераторы попытку Гоголя оправдаться перед ними.

В этой связи, однако, тем резче выделяется в следующей фразе он — «он уже говорил вам, что я ничего не знаю». Это «он», перекликающееся с фразой, подчеркнутой нами выше: «единственно для меня», тем ярче выделяет из прочих присутствовавших у Комарова самого Достоевского и, пусть в заведомо ложной форме, тешит льстивой выдумкой его непомерное самолюбие. И в этом контексте по-новому, вызовом действительности и признанием своей, доходящей до монома-

нии крайности, звучат слова: «Я, по крайней мере, в этом не сомневался». Вот как страшна эта маниакальная обидчивость, вызвавшая потребность мести покойнику за то, что он «решительно не хотел» замечать Достоевского, тогда как Гоголь, быть может, не зная его в лицо, не знал даже о его присутствии на вечере и разумеется ни в чем не выделял его из числа прочих присутствующих. Достоевский ничего не забыл: голодное ожидание ужина и уж конечно то, что его обошли представлением, обрекая таким образом на молчание.

Это последнее обстоятельство тоже старательно отмечено и заставило Достоевского прибегнуть к очень искусному построению: в обстановке Степанчикова тот факт, что рассказчик не был представлен Фоме или, вернее, что Фома «не хотел его замечать», не мог помешать ему участвовать в разговоре, тогда как, не будучи представлен Гоголю, Достоевский естественно не мог вступить с ним в разговор. Чтобы сохранить и эту черту, вынужденного молчания в общем разговоре, Достоевскому, не желающему опускать ни одной из своих многих обид, пришлось придумать особое событие в развитии действия повести: полковник объявляет рассказчику, что его простили за выходку против Фомы, «но только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при Фоме Фомиче — это неперемнное условие, т. е. решительно ни полслова — я уже обещался за тебя — а только будешь слушать, что старшие. . . т. е., я хочу сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод».

Чтобы покончить с этим исследованием преломления действительности в повести Достоевского, нам остается ответить на следующий вопрос: Достоевский, как мы видим, заставляет дядю усиленно представлять рассказчика, которого Фома не хочет замечать — на самом деле мы видели, что его вовсе не представляли. Действительно ли, однако, Гоголь, пользуясь тем, что Достоевский, и прочие не были ему представлены, так же резко игнорировал их, как Фома — рассказчика?

Нам кажется, что ответ на этот маленький вопрос дан самим Достоевским. «Незамечание» рассказчика Фомой завершается, как известно, в повести скандалом. На следующий день рассказчик и Фома снова встречаются: «Когда мы вошли, он (Фома) слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня. Я поклонился; он отвечал мне легким поклоном, впрочем, довольно вежливым».

Если, учитывая, что всё, связывающее в этой повести Фому с рассказчиком, носит, как мы видели, меуарный характер и воспроизводит события и впечатления встречи у Комарова, мы перенесем эту последовательность событий на пресловутый ужин, мы увидим следующее: Гоголь приехал, когда все уже сидели за столом — Фома вошел также, когда всё общество уже пило чай. Гоголь, пишет Панаев, «взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату». Это, очевидно, и есть событие, лежащее в основе обиды — он подал руку лишь знакомым, а на Достоевского не «обратил никакого внимания». В соседнюю же комнату и были введены четыре счастливица, которых представили и которые там остались, разговаривая с Гоголем, что усилило обиду оставшихся в столовой, вдвойне обойденных, сначала не поздоровавшимся с ними Гоголем, а потом представляющим лишь четверых Комаровым. Кстати, помня, что представлено было четверо и вводили их, должно быть, поочередно, невольно можно спросить себя, не является ли образ дяди, четыре раза тщетно порывающегося представить Фоме рассказчика, выражением надежды самого Достоевского, каждый раз ожидающего, что вызовут, наконец, и его, и каждый раз разочаровывающегося. В этом свете слова рассказчика, обращенные к дяде: «Ради Бога, не рекомендую меня больше», могут быть рассматриваемы как крик души Достоевского, молящего надежду не дразнить его больше несбыточными мечтаниями.

Наконец, наговорившись в соседней комнате, Го-

голь входит в столовую, где хозяин тщетно предлагает ему поужинать, входит, стало быть, уже вторично и встречается вновь с Достоевским. Следуя аналогии, мы должны отнести к этому моменту вторую встречу рассказчика с Фомой, происшедшую в повести уже на следующий день. Это сопоставление и толкование подтверждается теми, приведенными выше, словами дяди рассказчику, в которых он сообщает ему о приговоре, обрекающем его на молчание: «Ты ничего не будешь *завтра* сам говорить при маменьке и Фоме Фомиче». Мы уже видели, что вызвало необходимость этого эпизода: вынужденное молчание Достоевского и прочих не представленных Гоголю литераторов во время общего разговора. Но совершенно очевидно, что это вынужденное молчание казалось лишь с того момента, когда Гоголь, его знакомые и представленные ему люди, вернулись в столовую и продолжали за столом общий разговор. Пока они были в соседней комнате, невозможно предположить, чтобы непредставленные молодые люди пытались вмешиваться в разговор Гоголя из соседней комнаты. С другой стороны, ничто не мешало им разговаривать между собою, в ожидании возвращения хозяина и почетных гостей в столовую.

В этих условиях подчеркнутое нами слово *завтра*, обозначающее начало вынужденного молчания, лишний раз показывает правильность установленной нами параллели: вторая встреча рассказчика с Фомой действительно соответствует, в уме Достоевского, возвращению Гоголя в столовую. А если это так, то приведенный выше отрывок является описанием того, что вполне естественно и произошло в этот момент: садясь за стол, Гоголь осматривается кругом и обменивается «легким поклоном, впрочем довольно вежливым» с теми, с которыми он еще не здоровался, т. е. незнакомыми и не представленными ему людьми.

Мы видим, что, как чистый мемуарист, отмечающий предпочтительно касающиеся его лично события,

Достоевский сохраняет и эту черту, естественно, не замеченную Панаевым, который, как старый знакомый, поздоровался с Гоголем с первого разу. Но мы видим также, что этот «довольно вежливый» поклон был слишком недостаточен, чтобы успокоить уязвленное самолюбие Достоевского и, в силу совокупности всех перечисленных выше обстоятельств, как общего, так и частного свойства, Гоголь так и остался Фомой Фомичем, если не для всех, то во всяком случае для Достоевского, и, пожалуй, далеко не для него одного.

Видя, с каким тщанием Достоевский воспроизводит, повторяет, развивает и вводит в повесть все черты своей встречи с Гоголем, свою личную обиду, нельзя не убедиться, что далеко не одно идейное негодование против автора «Переписки с друзьями» побудило Достоевского написать сатиру на Гоголя; судя по всему тону произведения можно, наоборот, заключить, что личные причины играли преобладающую роль и нельзя не задаваться вопросом, до какой степени те же личные причины подстрекали Достоевского публично читать письмо Белинского — с которым Достоевский резко разошелся еще до смерти его — во время следующей за встречей с Гоголем зимы.

Всё вышеизложенное позволяет нам взглянуть на «Село Степанчиково» с новой точки зрения — произведение это кажется нам теперь составленным из двух, независимых, в сущности, частей, искусно, однако, связанных автором. Одна из них, это сама повесть, история полковника, Настеньки, сумасшедшей Татьяны Ивановны и т. д., другая же не что иное, как воспоминания о вечере у Комарова, преобразенные, разумеется, желчью и творческим искусством автора, но достаточно верные в основных частях действительности, чтобы их можно было опознать и восстановить, как скоро мы узнаем, в чем дело, как нам помог это сделать Панаев.

*Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин*

Читая «Поэму

без героя» А. Ахматовой, почти сразу замечаешь, что ударное слово в ней — б е с.

И по значению и по звуковой форме это общеславянское слово необычайной выразительности. Ученый Миклошич в своей сравнительной грамматике сближает этимологически это слово с глаголом «б о я т ь с я».

Рассказывают, что Дега спросил как-то Малларме, в чем смысл его загадочных стихов, на что поэт ответил: «Не идеями делается поэма, а словами». Здесь было уместно вспомнить старую остроту.

В предисловии к Поэме автор пишет: «что никаких третьих, седьмых и двадцать девярых смыслов (поэма) не содержит». «Еже писах — писах».

В последней строчке пушкинского «Домика в Коломне» сказано почти дословно то же, что и в обращении Ахматовой к читателю: «Больше ничего не выжмешь из рассказа моего»... Читатель прочел шуточную петербургскую повесть Пушкина, «Домик в Коломне», и ждет «нравоучения», чтобы лучше понять, что хотел сказать поэт. Но напрасно, — Пушкин поставил три точки.

«В этом предложении — ничего больше не «выжмать» из рассказа есть гениальное лукавство» — говорит В. Ф. Ходасевич в своей зоркой заметке о петербургских повестях Пушкина, написанной полвека тому назад.

Конечно, Ахматова знает, как знал и Пушкин, что «выжимать» Поэму будут. А с годами толков о Поэме будет больше, и она обрастет легендой, и народит любознательных, как говорится, экзегетов. Схожа в мире судьба всех шедевров: «Поэма без героя» — такого класса вещь.

И Ахматова в своем обращении к читателю словно предостерегает его «не копать рядом»; не придумывать тематики чуждой Поэме; не навязывать ей посторонних идей; не искать логического порядка там, где его быть не может, ибо у Поэмы своя логика, хотя бы и парадоксальная, где может царить бессвязность и противоречие. Часто случается, что даже самые робкие критики, не справляясь с искушением, наводят свой собственный порядок в поэтическом произведении, забывая, что заковка поэзии иррациональна, ибо это есть поэзия.

Часть вторая Поэмы названа игрецким термином «Решка». Он означает в «орлянку» проигрыш и неудачу. И этот раздел, вставленный в середине, между частью первой «1913. Петербургская повесть.» и Эпилогом, и на самом деле «Интермеццо», где поэт бегло и горестно повествует гибкими ямбами о том, что Поэму в Советской стране не удастся издать. Она не понята, не понятна и, потому, не нужна.

Тут же в двух строфах (в XII-й и XIII-й) поэтесса, как ворожея, зазывает читателя разгадать загадку, заданную ею в только что прочитанной «1913. Петербургской повести».

.
 Я согласна на неудачу
 И смущенье свое не прячу
 У шкатулки ж тройное дно.

Но сознаюсь, что применила
 Симпатические чернила
 И зеркальным письмом пишу,
 И другой мне дороги нету —
 Чудом я набрела на эту
 И расстаться с ней не спешу.

Мы не занимаемся исследованием.

Мы читали и перечитываем Поэму и теперь хотим писать о впечатлении от троп и образов, ритма, рифм, и слов. И слова, наконец, раскрылись, как художественное произведение. «Слово имеет все свойства художественного произведения» — говорит знаменитый А. А. Потебня, и говорит верно.

Ключ в музыке дается в начале нотной строки. Этот знак определяет название и высоту последующих нот. У Ахматовой ключ, думается, нужно искать в письме к Н. (к никому?). Письмо-введение к поэме и поэт говорит: «Осенью 1940 года, разбирая мой старый (впоследствии погибший во время осады) архив, я наткнулась на давно бывшие у меня письма и стихи, прежде не читанные мною («Б е с попутал в укладке рыться»). Они относились к трагическому событию 1913 г., о котором повествуется в «Поэме без героя.»

И так, ключ дан. Ключ — катастрофический. Не в таком ли смысле Вячеслав Иванов называл романы-трагедии Достоевского катастрофическими? Может, здесь уже сказалось родство Ахматовой с первым русским драматистом? К преемству мы сейчас вернемся.

Сначала перечислим имена, которыми поэт клеймит, неизвестно как проникшего, непрощенного гостя «со страшным и дымным лицом»:

Б е с; Владыка Мрака; демон; ровесник Мамврийского дуба, вековой собеседник луны; Мефистофель; изящнейший сатана; а от него пошли — петербургская чертовня; достоевский и бесноватый город; адская арлекинада; и козлоногая; и беснуется и не хочет узнавать себя человек; и, наконец, словно та одержимая бесом.

Постой,
Ты, как будто, не значишься в списках,
В калиострах, магах, лизисках,
Полосатой наряжен в е р с т о й

Здесь мы узнаем с детства знакомого пушкинского беса;

там верстою небывалой
он торчит передо мной;

из стихотворения «Бесы» (1830).

В строфе III-й 2-ой части Ахматова еще раз вспоминает своих странных новогодних гостей:

Я ответила: там их трое —
Был один наряжен верстою
А другой, как демон одет...

В другой пушкинской петербургской повести, драматической и страстной, «Пиковой даме», мы читаем жуткую строчку: «в это время кто-то с улицы взглянул к нему в окно, — и тотчас отошел», а у Ахматовой:

Кто стучится? Ведь всех впустили
Это гость зазеркальный или
То, что вдруг мелькнуло в окне
.

Дальше за многоточием:

Шутки ль месяца молодого
Или вправду там кто-то снова
Между печкой и шкафом стоит.
Бледен лоб и глаза закрыты...

Это почти дословно положение за минуту до самоубийства инженера-строителя Алексея Нилыча Кириллова из «Бесов» Достоевского.

Каким удивительным образом в этом месте Поэмы перекликаются Пушкин с Достоевским.

Незадолго до того, умнейший Кириллов в ночной беседе с Николаем Ставрогиным — оба бесы-иерархи — произнес на своем обрывистом языке: «Жизнь

есть, а смерти нет вовсе», на что Ахматова в роли «античного хора» вторит:

Смерти нет — это всем известно,
Повторять это стало пресно...

Родство Ахматовой с Достоевским теперь несомненно. Но не лишне ли подчеркнуть, что близость ее с Пушкиным глубже и прочней? Это и без того хорошо понято всеми, кто читал Ахматову. И достаточно взглянуть на те два слова подзаголовка к Поэме, чтобы понять, что задумал автор. Они, два слова — Петербургская повесть — действуют на нас неотразимо. Они переносят нас мгновенно в сверхъестественный пушкинский круг. Пушкин был тот, кто первый создал неразгаданный мир Петербурга, где злобствующие бесовские силы не дают жизни «простых людей течь беспрепятственно». Повестям присущ один и тот же петербургский воздух и «дымок», нависший над «топкими берегами». Но дело не только в них...

Как когда-то хорошо писал Ходасевич: «Для тех, кто умеет читать и любить Пушкина «петербургские» повести его слагаются в замкнутый, неразрывный цикл. «Домик в Коломне», «Медный всадник», и «Пиковая дама» составляют тот магический круг, в который поэт нас вводит силой таинственного своего гения».

Что общего в повестях? Ходасевич смог это открыть в 1912 г., когда сначала П. Е. Щеголев, а за ним в 1913 г. Н. О. Лернер опубликовали, перепечатав из альманаха «Северные цветы» на 1829 г., повесть «Уединенный домик на Васильевском» за подписью Тита Космократова.

Оказалось, что под этим псевдонимом скрылся некто В. П. Титов, молодой литератор. Он, в числе других, в гостях у Карамзиных в 1829 г., слышал, как Пушкин рассказывал историю про «уединенный домик на Васильевском». Придя домой, он в ту же ночь записал рас-

сказ Пушкина, а на утро отправился к нему, чтобы исправить запись.

Мы не станем пересказывать «Уединенный домик». Скажем только, что повесть была первой, самой ранней вариацией всех других петербургских повестей Пушкина. «Уединенный домик» это — «черновой замысел» и основная тема. Во всех повестях жизнь «простых людей» нарушается вмешательством враждебных сил. И конфликт от вторжения неожиданных и непрощенных «гостей» кончается трагически. Только в «Домике в Коломне» дается комическая развязка. Судьба Германна в «Пиковой даме», Евгения в «Медном всаднике» и Павла в «Уединенном Домике» одна и та же: они сходят с ума. И тема эта никогда больше не покидала Пушкина.

Ахматова продолжает в своем письме-введении:

«Затем, как известно каждому грамотному человеку и я совсем перестала писать стихи, и всё же в течение 15 лет эта поэма неожиданно, как припадки какой-то неизлечимой болезни, вновь и вновь наступала меня (случалось это всюду — в концерте при музыке, на улице, даже во сне), и я не могла от нее оторваться, дополняя и исправляя повидимому оконченную вещь».

«Но была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут».

«Я пила ее в капле каждой
И, б е с о в с к о ю черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с б е с н о в а т о й»

Не для того поэт пишет поэму, чтобы излить свои чувства, а для того, чтоб от них освободиться. И поэма ему не служит для того, чтобы показать читателю свою исключительную личность, а служит ему, чтобы освободиться от нее.

Однако только тот, кто имеет личность и чувства знает, что значит освобождения от них.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>От редакции</i>	3

СТИХИ:

<i>Анна Ахматова</i> — Два стихотворения	9
Стихи разных лет, посвященные Анне Ахматовой .	11
<i>Владислав Ходасевич</i> — Три стихотворения . . .	16
<i>Осип Мандельштам</i> — Пять стихотворений . . .	19
Шуточное	24

ПРОЗА

<i>Исаак Бабель</i> — Четыре новеллы:	
Фроим Грач	29
Мой первый гонорар	35
Колывушка	45
На поле чести	52

О РОССИИ:

<i>Владимир Вейдле</i> — Возвращение на родину . . .	57
<i>Георгий Адамович</i> — Послесловие	67
<i>Юлий Марголин</i> — Стихи, написанные в стране Зе—Ка	84

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА:

Выдержки из писем <i>И. Э. Бабеля</i> к матери и сестре	101
<i>Галина Кузнецова</i> — Грасский дневник	116
<i>Лидия Шаляпина</i> — Об отце	127
<i>Елена Извольская</i> — Поэт обреченности	150
<i>Артур Лурье</i> — Детский рай	161
<i>Михаил Чехов</i> — Жизнь и встречи	173
<i>Андрей Седых</i> — Н. А. Тэффи в письмах	191

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ:

<i>Леонид Ржевский</i> — Бабель-стилист	217
<i>Владимир Марков</i> — Одностроки	242
<i>Николай Ульянов</i> — Об одной неудавшейся поэзии .	259
<i>Юрий Маргулиес</i> — Встреча Достоевского и Гоголя	272
<i>Эрге</i> — Читая «Поэму без героя»	295

ПОРТРЕТЫ:

<i>Анна Ахматова</i> — Амедея Модильяни (Париж. 1911 г.)	
<i>Исаак Бабель</i> — В. А. Милашевского (Москва. 1932 г.)	
<i>Федор Шаляпин</i> — Б. Ф. Шаляпина (Париж. 1932 г.)	144

Выпуск № 1

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

*альманах под редакцией Р. Н. Гринберга,
посвященный семидесятилетию
Бориса Леонидовича Пастернака,
1960 г., Нью-Йорк*

СОДЕРЖАНИЕ:

От редакции; Анна Ахматова — Поэма без героя; Георгий Адамович — Темы; Лев Шестов — А. С. Пушкин; Владимир Вейдле — О непереводаемом; Димитрий Кленовский — Стихотворения; Глеб Струве — Из заметок о мастерстве Бориса Пастернака; Вера Александрова — По литературным адресам поэта; Владимир Марков — Стихи русских прозаиков; Николай Моршен — Стихотворение; Марк Вишняк — Человек в истории; Федор Степун — Современность и искусство; Игорь Чиннов — Стихотворение; Николай Ульянов — Ignorantia est; Юрий Иваск — Возможность поэзии; Юлий Марголин — О Боге великом; Эрге — В общих чертах.

(Распродан)

Выпуск № 2

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

*альманах под редакцией Р. Н. Гринберга,
1961 г. Нью-Йорк*

СОДЕРЖАНИЕ:

Осип Мандельштам — 57 стихотворений; Владимир Вейдле — О последних стихах Мандельштама; Георгий Адамович — Несколько слов о Мандельштаме; Юлий Марголин — Памяти Мандельштама; Анна Ахматова — Поэма без героя (2-й вариант); Артур Лурье — Заклинание (музыка к «Поэме без героя»); Борис Филиппов — Заметки к поэме А. Ахматовой; Владимир Набоков — Два стихотворения; Артур Лурье — Чешуя в неводе; Владимир Марков — О свободе в поэзии; Николай Ульянов — Из незаконченных споров; Николай Юнг — Четыре стихотворения; Лев Шестов — Фрагменты неоконченной рукописи.

Склад издания:
R. N. GRYNBERG
304 West 75th Street
New York 23, N. Y.

